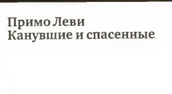
Примо Леви

Канувшие и спасенные



Примо Леви
Канувшие и спасенные

Primo Levi
I sommersi e i salvati

Примо Леви
Канувшие и спасенные

Перевод с итальянского Елены Дмитриевой

НОВОЕ
издательство

УДК 94(4) «1939/45»
ББК 63.3(0)62
Л36

Издатель Андрей Курилкин
Дизайн Анатолий Гусев

Издание осуществлено при поддержке
Министерства иностранных дел Итальянской Республики

Перевод с итальянского и примечания Елена Дмитриева
Послесловие Борис Дубин

Леви П.

Л36 Канувшие и спасенные / Пер. с итал. Е.Б. Дмитриевой
М.: Новое издательство, 2010. — 196 с.

ISBN 978-5-98379-128-2

Примо Леви родился в 1919 году в Турине. Окончил химический факультет Туринского университета. В 1943–1945 годах — узник Освенцима. После освобождения работал химиком, занимался литературой и переводами. Автор двух автобиографических книг о лагерном опыте — «Человек ли это?» (1947), «Передышка» (1963), нескольких романов и повестей. Покончил с собой в 1987 году.

УДК 94(4) «1939/45»
ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-98379-128-2

Оглавление

Но с той поры в урочный срок
Мне боль сжимает грудь.
Я должен повторить рассказ,
Чтоб эту боль стряхнуть.

С.Т. Кольридж,
«Сказание о Старом Мореходе»

Предисловие

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ о нацистских лагерях уничтожения начали доходить до нас в переломном 1942-м. Это были смутные, но становящиеся все более упорными слухи о массовых убийствах, которые осуществлялись в таких масштабах, с такой беспредельной жестокостью и с такой не укладывающейся в голове мотивацией, что в это просто невозможно было поверить — и люди не верили. Показательно, что подобную человеческую реакцию заранее предвидели те, кто был к этому причастен: многие выжившие, и среди них Симон Визенталь на последних страницах своей книги «Убийцы среди нас», вспоминали, что эсэсовцам доставляло удовольствие дразнить заключенных своими циничными прогнозами. «Как закончится эта война, мы пока не знаем, — говорили они, — зато знаем, что в войне с вами победу одержали мы, потому что никто из вас не останется в живых, чтобы свидетельствовать, а если какие-то единицы и останутся, мир им не поверит. Возможно, у кого-то зародятся сомнения, люди будут спорить, заниматься поисками фактов, но неопровержимых доказательств они не найдут, потому что мы уничтожим не только вас, но и все доказательства. Но даже если доказательства найдутся и кто-то из вас выживет, люди ска-

жут, что доказательства ваши настолько чудовищны, что поверить в их подлинность невозможно и все это раздувают заинтересованные в пропаганде союзники, а потому поверят нам, которые будут все отрицать, а не вам. Так что история лагерей будет написана с наших слов».

Любопытно, что та же самая мысль («даже если бы мы рассказали, нам бы никто не поверил») преследовала заключенных в их ночных снах, приводя в отчаяние. Почти все, кто остался в живых, устно или письменно свидетельствовали о том, что часто видели в лагере сон, который варьировался в деталях, но всегда был одинаковым по существу: человек возвращается домой и, чтобы облегчить душу, горячо рассказывает кому-то из самых близких о пережитых страданиях, но ему не только не верят, его даже и слушать не хотят. Чаще (что казалось особенно беспощадным) слушатель поворачивался к рассказчику спиной и молча уходил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока считаем важным подчеркнуть, что обе стороны — как жертвы, так и их притеснители — ясно осознавали, что поверить в масштабы и чудовищность происходившего в лагерях (не только в лагерях, но и в гетто, и в тылу восточного фронта, и в полицейских застенках, и в приютах для душевнобольных) просто немыслимо.

К счастью, то, чего боялись жертвы и на что надеялись нацисты, не случилось. Даже самые совершенные механизмы рано или поздно дают сбой, и гитлеровская Германия, особенно в последние месяцы перед крахом, была уже далеко не такой отлаженной машиной, как в начале. Многие из вещественных доказательств массовых убийств исчезли или были ловко уничтожены; осенью 1944 года в Освенциме нацисты взорвали газовые камеры и крематории, но развалины сохранились и по сей день, так что заступникам нацистов, какие бы фантастические гипотезы они ни придумывали, трудно найти правдоподобное объяснение их назначения. Варшавское гетто после знаменитого восстания весны 1943 года было сравнено с землей, но благодаря нечеловеческим усилиям некоторых историков из числа восставших (историков собственной судьбы!) другие историки по ту сторону стены получили тайно или нашли потом под развалинами на многометровой глубине свидетельства того, как это гетто жило день за днем и день за днем умира-

ло. Все лагерные архивы были сожжены в последние дни войны, и это поистине невосполнимая потеря, поскольку до сих пор не закончились споры о том, сколько было жертв — четыре, шесть или восемь миллионов (речь, правда, всегда идет о миллионах). До того как нацисты додумались строить гигантские многопропускные крематории, бесчисленные трупы жертв — расстрелянных, умерших от лишений или болезней — могли служить доказательством преступлений, а потому должны были исчезнуть любым путем. Первоначальное решение, настолько ужасное, что о нем и говорить-то трудно, состояло в простом заполнении огромных ям, общих могил, сотнями тысяч тел: так было в Треблинке, в других небольших лагерях, на оккупированных русских территориях. Это дикое решение принималось как временное: тогда немецкая армия побеждала на всех фронтах и казалось, что окончательная победа не за горами. «*Потом* решим, что с этим делать». В любом случае, правду диктует победитель, он может манипулировать ею по своему усмотрению; так или иначе, но общие захоронения либо получат свое оправдание, либо исчезнут, либо вину за них переложат на советских (которые, как подтверждает история с Катынью, оказались не намного лучше). Но после Сталинграда нацисты передумали: все следы незамедлительно уничтожить! И все тем же заключенным пришлось раскапывать полусгнившие останки и сжигать их под открытым небом, как будто бы операции такого рода и такого масштаба могли пройти незамеченными.

Эсэсовцы и госбезопасность заботились о том, чтобы в живых не осталось ни одного свидетеля. Этим объясняются (потому что другого объяснения просто не найти) безумные на первый взгляд, а на самом деле губительные перемещения, которыми в начале 1945 года завершилась история нацистских лагерей. Остававшихся в живых заключенных из Майданека гнали в Освенцим, из Освенцима — в Бухенвальд и Маутхаузен, из Бухенвальда — в Берген-Бельзен; женщин Равенсбрюка — под Шверин. Всех, таким образом, переправляли вглубь Германии, пока их не освободили русские или союзники, наступавшие с востока и запада. Сколько умрет по дороге — значения не имело; главное — чтобы они ничего не рассказали. Начав свое существование в качестве центров политического террора, превратившись

затем в фабрики смерти, а следом (или одновременно) — в источник уничтожаемой и постоянно пополняемой рабской рабочей силы, лагеря стали представлять опасность для обессилевшей Германии, поскольку хранили тайну, самую преступную за всю историю человечества. Толпа полуживых призраков превратилась в *Geheimnisträger*, хранителей тайны, от которых нужно было избавиться. Немцы разрушили приспособления для массовых убийств (красноречивые свидетельства преступлений) и стали перегонять заключенных вглубь немецкой территории, теша себя абсурдной надеждой запереть их в более удаленных от наступающих фронтов лагерях и выжать из них работой последние силы, а также менее абсурдной надеждой, что мучения узников во время этих библейских маршей сократят их число. Число дошедших действительно сократилось невообразимо, и все же кому-то повезло и достало сил выжить, чтобы свидетельствовать.

Менее известны и менее изучены сведения о хранителях тайны, находившихся по другую сторону, а именно среди притеснителей: многие из них знали мало и лишь немногие знали все. Теперь никому уже не удастся определить точно, сколько человек в нацистском аппарате *не могли не знать* о чудовищных злодеяниях, которые тогда совершались; сколько что-то знали, но делали вид, что не знают; сколько еще имели возможность знать все, но сочли, что благоразумнее закрывать глаза и уши (а главное — не раскрывать рта). Как бы там ни было, поскольку нельзя себе представить, что большинство немцев могло с легким сердцем принять массовые убийства, сокрытие правды о лагерях, являясь очевидным показателем трусости, привитой гитлеровским террором, составляет едва ли не самую тяжкую коллективную вину немецкого народа. Трусость успела войти в привычку и настолько укоренилась, что муж боялся быть откровенным с женой, родители — с собственными детьми; если бы не эта ложь, самые страшные преступления, может, и не произошли бы и Европа и весь мир были бы теперь другими.

Бесспорно, те, кто знали ужасную правду в силу своей причастности, имели веские основания молчать, но, даже храня молчание, они не были спокойны за свою жизнь. Это подтверждает история Штангля и других убийц из Треблин-

ки: после зверского подавления восстания и уничтожения этого лагеря их перевели в один из самых опасных районов партизанской борьбы.

Нежелание видеть и страх за свою жизнь заставляли молчать и многих потенциальных свидетелей лагерных преступлений из гражданских. Особенно в последние военные годы, когда лагеря уже превратились в разветвленную сложную систему, тесно связанную с повседневной жизнью страны; здесь с полным основанием можно говорить о возникновении *univers concentrationnaire**, однако закрытым этот мир не был. Промышленникам всех уровней, большим и маленьким, сельскохозяйственным производителям, военным заводам был выгоден почти бесплатный труд заключенных. Одни безжалостно выжимали из них все силы, придерживаясь бесчеловечного (и одновременно глупого) эсэсовского принципа, что узник ничего не стоит и, если один надорвался и умер, его тут же можно заменить таким же. Другие (их было немного) пытались осторожно облегчить страдания заключенных. Третьи (а может, и все они) получали выгоду от поставок в лагеря дров, строительных материалов, полосатой ткани для одежды, сушеных овощей для супа и т.д. Например, многопропускные печи лагерных крематориев проектировала, монтировала и приводила в рабочее состояние висбаденская фирма Topf (вплоть до 1975 года продолжавшая строить крематории, правда, гражданского назначения, и не считавшая нужным изменить свой профиль). Трудно поверить, что персонал этих предприятий и фирм не догадывался, учитывая количество и качество выпускаемой продукции, о том, как она применяется или как используются сооружения, возводимые по заказу СС. Подобное расследование можно провести (и оно было проведено) в отношении поставок яда для газовых камер Освенцима. Этот продукт, представляющий собой синильную кислоту, уже много лет применялся для дезинфекции корабельных трюмов, но резкое увеличение заказов на него начиная с 1942 года не могло пройти незамеченным. Должны были возникнуть подозрения, и наверняка возникали, но их заглушали страх, желание заработать, свойственные людям слепота и самооглупление,

* Концентрационный мир (*фр.*).

а в некоторых (правда, редких) случаях — фанатичная преданность нацизму.

Вполне естественно и даже само собой разумеется, что основным источником восстановления правды о лагерях стали воспоминания выживших, но мы должны относиться к этим воспоминаниям критически, несмотря на свое сострадание и гнев. Пребывание в лагере не всегда давало возможность осознать, что же это такое — лагерь: попав в бесчеловечные условия, заключенные лишь в редких случаях были в состоянии получить общее представление о том мире, в который они оказались ввергнуты. Бывало, человек, особенно если он не понимал по-немецки, даже не знал, в какой части Европы находится лагерь, где он очутился после невыносимого, мучительного пути в опломбированном вагоне. Он не знал о существовании других лагерей, расположенных подчас всего в нескольких километрах от его лагеря, не знал, для кого или на кого работает, не понимал значения многих неожиданных изменений и массовых перемещений людей. Находясь рядом со смертью, он часто был не в состоянии оценить масштабы массовых убийств, происходивших у него под носом: товарищ, который еще сегодня работал с ним бок о бок, завтра мог исчезнуть, и узнать, перевели его в другой барак или отправили на тот свет, не было никакой возможности. Конечно, все ощущали жестокий гнет и нависшую над каждым угрозу, но составить представление о гигантской лагерной структуре не могли, потому что, ежеминутно занятые насущными потребностями, не отрывали глаз от земли.

Этим недостатком отличаются устные и письменные свидетельства «обычных», непривилегированных заключенных — тех, кто был нервом лагеря и смог избежать смерти лишь благодаря невероятному стечению обстоятельств. В лагере они составляли большинство, но выжили из них единицы. Среди выживших больше всего тех, кому удалось воспользоваться хоть какими-то привилегиями. Теперь, по прошествии времени, можно утверждать: история лагерей написана почти исключительно такими, как я, кому повезло не опуститься на самое дно. Потому что те, кто опустились, уже не выплыли, а если и выплыли, то перенесенные страдания и непонимание окружающих заслонили от них горизонт.

Впрочем, широта обзора «привилегированных» объясняется лишь тем, что они находились уровнем выше, а потому и обзор у них был лучше, зато их свидетельства в большей или меньшей степени искажены самой привилегированностью. Привилегии (и не только в лагере!) — деликатная тема, и, касаясь ее в дальнейшем, я постараюсь проявить максимум объективности. Хочу лишь обратить внимание на тот факт, что привилегированные в полном смысле этого слова, то есть те, кто добился привилегий, выслуживаясь перед лагерным начальством, по вполне понятным причинам либо вообще не оставили свидетельств, либо оставили свидетельства не совсем правдивые, с пробелами, а то и просто лживые. Лучшие лагерные историки — это те немногие из немногих, кто сумели достичь положения привилегированных благодаря сноровке и везению, не унижаясь до компромиссов, кто, понимая всю сложность такого явления, как лагерь, и учитывая все многообразие известных им человеческих судеб, оказались способными, не выпячивая себя, со скромностью настоящего летописца рассказать то, что они видели и пережили. Так сложились обстоятельства, что почти все эти историки были из политических: во-первых, потому что лагерь — явление политическое; во-вторых, потому что среди политических больше, чем среди евреев и уголовников (как известно, заключенные лагерей делились на эти три основные категории), было людей культурных, способных изложить и объяснить увиденное, и, будучи политическими борцами, убежденными антифашистами, они считали, что свидетельства необходимо использовать как оружие в борьбе с фашизмом. Кроме того, им было проще получить доступ к документам; важные должности в лагере занимали тоже они, нередко состоя одновременно в подпольных организациях Сопротивления. В последние годы, во всяком случае, они жили в терпимых условиях: им, например, разрешалось даже писать и хранить свои записи — евреи и помыслить об этом не могли, а уголовникам это было просто не нужно.

Вот те причины, из-за которых правда о лагерях прошла долгий и трудный путь, прежде чем пробилась на свет, а многие стороны лагерной жизни до сих остаются не до конца изученными. После освобождения нацистских лаге-

рей прошло уже более сорока лет — достаточно солидный срок, чтобы все прояснилось, однако мы имеем противоречивые результаты, и я попытаюсь их здесь описать.

В первую очередь, произошло «декантирование» — желательный и вполне естественный процесс, благодаря которому исторические события обретают соразмерность, вписываются в перспективу лишь спустя десятилетия. В конце Второй мировой войны количество жертв депортаций и массовых убийств в лагерях, и не только в них, еще не было подсчитано, поэтому осознать масштабы и специфику этих преступлений было трудно. Только совсем недавно стало понятно, что нацистские массовые убийства — нечто чудовищно «исключительное» и, если в ближайшие годы не произойдет нечто худшее, они останутся в памяти главным событием XX века, несмываемым пятном.

Однако время не способствует исторической точности. Спустя столько лет бóльшая часть свидетелей (как защитников, так и обвинителей) ушла из жизни, а те, что остались и, преодолев угрызения совести или душевные муки, продолжают свидетельствовать, не всегда заслуживают доверия: часто их воспоминания расплывчаты; эти люди сами не осознают, что на них повлияли чужие книги или рассказы. Некоторые, естественно, симулируют забывчивость, но годы берут свое, и забывчивому свидетелю готов поверить даже суд. "Не знаю» или «не знал», сказанные сегодня многими немцами, уже не вызывают такого возмущения, какое они вызывали или должны были вызывать сразу после войны.

Есть еще одна форма недостоверности, которая присуща всем нам, вернувшимся живыми из лагерей, и особенно тем из нас, кто настолько привык к роли бывшего нацистского узника, что перестал относиться к себе критически. Никто не говорит, что церемонии, чествования, памятники и флаги не нужны. Чтобы память жила, немного риторики не повредит. Во времена Фосколо гробницы, «урны сильных» призваны были зажигать души, вдохновлять на подвиги или по крайней мере хранить память о великих деяниях. Так же должно быть и сейчас, главное — соблюдать чувство меры и не впадать в крайности. Каждая жертва достойна быть оплаканной, каждый оставшийся в живых узник достоин помощи и сочувствия, но не все их поступки достойны

подражания. У лагеря сложное устройство, этот микрокосмос состоит из разных слоев. Населенная заключенными, в той или иной (подчас безобидной) форме сотрудничавшими с лагерными властями, серая зона, о которой речь пойдет дальше, была не так уж и мала и должна представлять особый интерес для историков, психологов и социологов. Любой бывший узник подтвердит вам, что первые удары ему нанесли не эсэсовцы, а заключенные, можно сказать, товарищи по несчастью, непонятные существа, одетые в такие же полосатые куртки, какие только что выдали им, вновь прибывшим, и это было настоящим потрясением.

Цель этой книги — прояснить некоторые стороны такого явления, как лагерь, которые до сих пор оставались в тени. Автор ставит себе даже еще более амбициозную задачу — ответить на чрезвычайно важный вопрос, тревожащий всех, кто читал наши воспоминания: сколько человек погибло в концентрационном мире, сгинуло без следа, сколько вернулось, что может сделать каждый из нас, выживших, чтобы в этом полном угроз мире больше не существовало подобной опасности?

У меня не было намерения писать труд по истории, досконально изучать источники и научную литературу — на такое я не способен. Я ограничился почти исключительно нацистским лагерем, который знаю по личному опыту; есть у меня и опыт опосредованный, основанный на прочитанном, услышанном, на встречах с читателями двух моих первых книг. Несмотря на то, что за годы, прошедшие до написания этой книги, мы столкнулись и с ужасом Хиросимы и Нагасаки, и с позором ГУЛАГа, и с бессмысленной, кровавой кампанией во Вьетнаме, и с самоуничтожением камбоджийского народа, и с пропавшими без вести в Аргентине, и с многими жестокими и бессмысленными войнами, концентрационная нацистская система так и осталась *уникальной* — как по масштабам, так и по своему характеру. Никогда и нигде не существовало такой непредсказуемой и сложной структуры, никогда столько людей не лишались жизни за столь короткий срок, никогда массовые убийства не проводились столь технически совершенно, с таким фанатизмом и такой жестокостью. Никто не оправдывает испанских конкистадоров, убивавших индейцев в Америке на

протяжении всего XVI века. Считается, что по их вине погибли шестьдесят миллионов человек, но действовали они по собственной инициативе, а не по указаниям своего правительства, и часто даже вопреки им; они не планировали свои преступления заранее и растянули их больше чем на сто лет; им помогли эпидемии болезней, которые они невольно привезли с собой. И, наконец, разве мы успокаивали себя тем, что все страшные преступления остались в «далеком прошлом»?

I
Память об оскорблении

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ — инструмент удивительный, но ненадежный. Эта затертая истина известна не только психологам, но и всем, кто способен анализировать поведение окружающих или свое собственное. Наши воспоминания не выбиты на камне; с годами они стираются, а часто и вовсе меняются, дополняются фрагментами постороннего опыта. С этим хорошо знакомы судьи: почти никогда не бывает, чтобы два очевидца одного и того же события описали его одинаково и одними и теми же словами, даже если они рассказывают о нем по горячим следам и не заинтересованы лично в искажении фактов. Ненадежность, свойственная нашим воспоминаниям, могла бы проясниться лишь в том случае, если бы мы узнали, на каком языке, с помощью каких знаков, на чем и чем эти воспоминания фиксируются, однако пока, к сожалению, мы далеки от этого знания. Нам известны некоторые механизмы, фальсифицирующие память при особых обстоятельствах, таких как травмы (причем не только черепно-мозговые), наложение других, «конкурирующих» воспоминаний, аномальные состояния сознания, подавление личности, вытеснение. Но даже в обычных условиях немногие воспоминания сохраняются

в неизменном виде: бо́льшая их часть постепенно деградирует, теряет отчетливость в силу так называемой физиологической забывчивости. Возможно, в этом проявляется одна из величайших сил природы, превращающая порядок в беспорядок, молодость в старость, жизнь в смерть. Сохранить воспоминания живыми и свежими можно, если их «тренировать» (то есть часто к ним обращаться) — точно так же сохраняют подвижность постоянно тренируемые мышцы; правда, слишком часто воскрешаемые воспоминания, особенно в форме рассказа, рискуют благодаря многократным повторениям закрепиться в стереотип, выкристаллизоваться в улучшенную, приукрашенную версию событий, которая, заместив первоначальное воспоминание, начнет жить независимой жизнью.

Здесь я пытаюсь исследовать экстремальные воспоминания — воспоминания об оскорблениях, причем принадлежащие и тем, кому они были нанесены, и тем, кто их наносил. В данном случае налицо все или почти все факторы, способные стереть или исказить «запись» в памяти: воспоминание о травме, полученной или нанесенной, — тоже травма, оно вызывает боль, в лучшем случае — беспокойство; поэтому оскорбленный старается не ворошить воспоминания, чтобы не открылась рана; оскорбивший — запрятать их поглубже, чтобы освободиться, облегчить груз вины.

При этом, как и в случае с другими явлениями, мы обнаруживаем парадоксальное сходство между жертвой и притеснителем, правда с определенной оговоркой: да, оба в одной западне, но это притеснитель, и только он, поставил ее, сделал все, чтобы она захлопнулась, и, если он мучается, это справедливо, ему и положено мучиться; жертве же мучиться не положено, и то, что она все-таки мучается, даже спустя десятилетия, — несправедливо. В очередной раз приходится с болью констатировать, что рана от нанесенного оскорбления не заживает: она кровоточит годами, и эринии, в существование которых трудно не верить, терзают не только мучителя (если вообще терзают, независимо от того, был он или не был наказан человеческим судом), но, продолжая его дело, преследуют жертву, лишая покоя и ее. Нельзя без ужаса читать признание австрийского философа Жана Амери, подвергнутого в застенках гестапо пыткам за участие в бельгийском Сопротивлении, а затем, уже как еврея, депортированного в Освенцим:

Кого пытали, тот не забудет об этом до самой смерти. <...> Кто перенес мучения, больше не вернется к обычной жизни; червь унижения будет грызть его постоянно. Вера в человечность, давшая трещину после первого удара по лицу, разрушенная до основания после пыток, никогда уже не вернется.

Перенесенные пытки стали для Амери началом смерти: в 1978 году он покончил с собой.

Мы не собираемся усложнять вопрос, забираться во фрейдистские дебри, рассуждать о патологии и снисхождении. Притеснитель остается притеснителем, жертва — жертвой, они не могут поменяться местами: первый достоин кары и ненависти (но, по возможности, и понимания), второй — жалости и поддержки, однако оба, будучи уже не в силах изменить прошлое, нуждаются в убежище, в защите и инстинктивно их ищут. Не все, но большинство, и часто — всю жизнь.

Мы располагаем многочисленными признаниями притеснителей (я имею в виду не только немецких национал-социалистов, но и всех тех, кто, подчиняясь приказу, неоднократно совершал ужасные преступления): показаниями в суде, газетными интервью, мемуарами. Все эти документы, на мой взгляд, необычайно интересны. Но не рассказами об увиденном и о совершенных деяниях, которые широко известны по неопровержимым (за редким исключением) свидетельствам жертв. Всему этому уже вынесен приговор, все это — часть Истории. Важнее самих деяний — их мотивация, оправдание.

На вопросы «Почему ты это сделал?», «Считаешь ли ты содеянное тобой преступлением?» почти все отвечали одинаково — и амбициозный, умный профессионал Шпеер, и холодный фанатик Эйхман, и недальновидные в своем служебном рвении комендант Треблинки Штангль и комендант Освенцима Гесс, и даже такие изощренные палачи, как гестаповцы Богер и Кадук. По-разному сформулированные, выраженные с большей или меньшей степенью наглости в зависимости от уровня развития и культуры каждого, ответы по существу звучат одинаково: я сделал это, потому что мне приказали; другие (те, кто надо мной) вели себя хуже; учитывая воспитание, которое я получил, и условия, в которых я жил, я не мог поступить иначе; если бы я отказался, другой все равно сделал бы это вместо меня, только с еще большей жестокостью. Первая

реакция тех, кто читает эти признания, — отвращение: вранье, они сами не верят, что им поверят; сами понимают, что их ответы не могут оправдать безмерных страданий и бесчисленных смертей, в которых они повинны. Они врут, зная, что врут; они поступают нечестно.

Каждый, у кого есть хоть мало-мальский жизненный опыт, скажет, что противопоставление (лингвисты употребили бы термин «оппозиция») «честно — нечестно» слишком наивно и идеалистично, тем более (и в первую очередь) применительно к вышеназванным людям. Оно предполагает ясность ума, которой обладают лишь немногие, да и те теряют ее, едва прошлое или настоящее начинает по той или иной причине вызывать у них чувство тревоги или дискомфорта. В такой ситуации кто-то начинает врать сознательно, с холодным расчетом фальсифицируя реальность; большинство же хватается за ложь, как за спасательный круг, старается на время или навсегда вытравить из себя подлинные воспоминания и выдумать другие, более удобные. Для тех, кто испытывает отвращение к содеянному или пережитому, прошлое — тяжкий груз, поэтому они заменяют его другим. Подмена может поначалу происходить совершенно сознательно, по заранее придуманному сценарию — далекому от истины, зато менее мучительному. Постепенно грань между правдой и ложью стирается; убеждая других, человек в конце концов и сам начинает верить в то, что он часто повторяет, раз от разу подправляя неубедительные места или подгоняя не стыкующиеся одна с другой детали, пока картина не покажется ему завершенной и изначальная нечестность не превратится в честность. Перерастание лжи в самообман выгодно: кто врет искренне, врет хорошо, убедительно играет роль, тому скорее поверят судьи, историки, читатели, жена и дети.

Чем больше времени отделяет нас от известных событий, тем надежнее и совершеннее конструкция придуманной для удобства правды. Думаю, именно такая умственная работа должна была предшествовать заявлениям бывшего комиссара правительства Виши по еврейскому вопросу (а значит, лично ответственного за депортацию семидесяти тысяч евреев) Луи Даркье де Пельпуа, опубликованным в 1978 году в журнале Express. Даркье отрицает все: горы трупов на фотографиях — монтаж; данные о миллионах уби-

тых — фальсификация, эту статистику сфабриковали сами евреи ради рекламы, чтобы вызвать жалость к себе и получить компенсации; евреев депортировали, это он не оспаривает (да и как бы он мог это оспаривать, если под многочисленными приказами, в том числе о депортации детей, стоит его подпись), но куда и с какой целью — он не знал; газовые камеры в Освенциме существовали, но служили для уничтожения вшей и, вообще, их построили (любопытная логика!) уже после окончания войны в целях пропаганды. Я не собираюсь оправдывать этого трусливого, ничтожного человека, я считаю оскорбительным для себя, что он столько лет преспокойно жил в Испании, тем не менее рискну предположить, что мы имеем здесь дело с типичным случаем, когда привычка врать окружающим помогает врать и самому себе, когда создание удобной правды позволяет жить спокойно. Чтобы отличать честное от нечестного, нужно быть искренним с самим собой, что, в свою очередь, невозможно без постоянных интеллектуальных и моральных усилий. Разве можно требовать подобного от таких людей, как Даркье?

Если мы прочитаем показания Эйхмана на иерусалимском процессе или автобиографию предпоследнего коменданта Освенцима Рудольфа Гесса (изобретателя газовых камер, в которых узников травили синильной кислотой), то сможем проследить, как происходил тот процесс обработки прошлого, о котором мы здесь говорим, причем в их случае — даже более сложный процесс. По существу, эти двое защищаются с помощью тех же самых аргументов, что и все остальные нацисты, а может быть даже и убедительнее: мы были воспитаны в беспрекословном подчинении тем, кто стоял над нами, говорят они; мы были одурманены националистическими лозунгами, нас пьянили церемонии и манифестации; нам вдолбили в голову, что все, что делается во имя нашего народа, — справедливо, и все, что говорит фюрер, — истинно. Чего вы от нас хотите? Как можно нам и таким, как мы, ставить в вину, что мы поступали именно так, как поступали? Мы были усердными исполнителями, и нас за наше усердие хвалили и поощряли. Не мы принимали решения, ибо режим, в условиях которого мы сформировались, не допускал никакой инициативы снизу: за нас решали другие, да иначе и быть не могло, потому что

нам не только запрещали принимать решения, нас лишили самой способности решать, сделали нас совершенно безынициативными. Мы ни за что не отвечали, а потому и наказывать нас не за что.

На фоне печей Биркенау подобная аргументация не может восприниматься иначе как издевательство. Да, давление, которое современное тоталитарное государство способно оказывать на человеческую личность, в самом деле чудовищно, и основных методов такого давления три: пропаганда (прямая или замаскированная под воспитание, образование и народную культуру), запрет на плюрализм информации и террор. И все же, утверждение, что с помощью таких методов можно полностью парализовать способность к противодействию, не соответствует истине, особенно когда речь идет о коротком историческом промежутке, каким было двенадцатилетнее существование Третьего рейха. Очевидно, что обладавшие почти безграничной властью Гесс и Эйхман слишком преуменьшают свою роль и, оправдываясь, искажают прошлое: оба родились и выросли еще до того, как Германия превратилась в тоталитарное государство, поэтому их выбор был сознательным и наверняка продиктованным конформистскими соображениями, а никак не юношеским энтузиазмом. Свое прошлое они переписали задним числом, это был долгий и, наверное, не вполне осознанный процесс. Наивно спрашивать, кривили они душой или нет. Такие непреклонные перед страданиями других, оказавшись волею судьбы перед лицом собственной, заслуженной смерти, они начали перелицовывать прошлое, чтобы оправдаться, и в конце концов сами поверили в созданную ими удобную версию событий. Прежде всего, это относится к Гессу: он не отличался утонченностью и, судя по его воспоминаниям, не был способен ни к самоконтролю, ни к самоанализу, поэтому невольно признавался в своем вульгарном антисемитизме, хотя и не уставал утверждать обратное; он даже не отдавал себе отчета, насколько неубедителен созданный им образ старательного исполнителя и доброго отца семейства.

Говоря о подобной реконструкции прошлого (и вообще о любых мемуарах), нужно иметь в виду, что степень искажения фактов часто ограничена объективностью самих фактов, особенно если существуют свидетельства третьих лиц,

документы, «состав преступления», исторический контекст. Как правило, оспаривать свою вину за совершенное деяние или само деяние трудно, если это — признанный факт, зато очень легко подменить мотивацию такого деяния, испытанные при его совершении чувства. Чувства — штука тонкая, они способны деформироваться при малейших воздействиях. Ответы на вопросы «Почему ты это сделал?», «О чем ты думал, делая это?» не могут претендовать на достоверность, потому что состояние души переменчиво, но еще переменчивей — память о нем.

Крайняя степень деформации воспоминания о своей вине — это его устранение. И здесь грань между честным и нечестным очень тонка: за «не знаю» и «не помню», звучащими в судах, подчас стоит явная попытка соврать, но нередки случаи, когда ложь выдается в уже устоявшемся виде, как застывшая формула. Помнящий захотел превратиться в непомнящего, и ему это удалось: желая перечеркнуть то, что было в действительности, он исторг из себя неприятное воспоминание, освободился от него, как освобождаются от экскрементов или паразитов. Адвокаты хорошо знают: провал в памяти нетрудно выдать за неведение, а предложенную подзащитному правдоподобную версию — за непреложную правду. Нет нужды обращаться к патологическим случаям, чтобы найти примеры, способные вызвать недоумение: мы чувствуем, что человек лжет, но определить, знает ли он сам, что лжет, мы не в состоянии. Если даже предположить (хотя такое предположение было бы абсурдно), что перед нами человек, который вдруг перестал лгать и превратился в самого правдивого из людей, то и ему не под силу понять, лжет он или нет: так актер, играя на сцене, полностью сливается со своим персонажем, становится неотделим от него. Другой очевидный пример, уже из сегодняшнего дня, — поведение на суде Али Агджи, турка, покушавшегося на папу Иоанна Павла II.

Лучший способ защититься от тяжелых воспоминаний — это закрыть им доступ, возвести пограничный санитарный барьер. Легче не допустить вторжения воспоминания, чем потом от него освобождаться. На это, в сущности, были рассчитаны многие ухищрения, придуманные нацистами для защиты совести тех, кто выполнял грязную работу, и для того, чтобы эта работа, отвратительная даже для

самых закоренелых головорезов, выполнялась. В *Einsatzkommandos*, которые расстреливали на оккупированных русских территориях гражданских лиц, выстроив их на краю ямы, самими же жертвами и вырытой, спирт выдавался без ограничения; таким образом, массовые убийства совершались в состоянии опьянения. Широко известные эвфемизмы «окончательное решение еврейского вопроса», «особое обращение», те же самые *Einsatzkommandos* (дословно — «подразделения быстрого реагирования»), название которых ничего не говорило об их страшном назначении, придумывались для того, чтобы не только обмануть обреченных и избежать их сопротивления, но и, по мере возможности, препятствовать общественной огласке и распространению в войсках, не связанных напрямую с преступлениями, правды о происходящем на оккупированных Третьим рейхом территориях.

В конечном счете, всю недолговечную историю «Тысячелетнего рейха» можно назвать войной против памяти, оруэлловской фальсификацией памяти, подменой и даже отрицанием действительности, вплоть до окончательного бегства от нее. Во всех биографиях Гитлера, сколь ни разнились бы они в оценке этого субъекта, которого и человеком-то назвать трудно, единодушно отмечается проявившееся у него в последние годы, особенно после первой русской зимы, бегство от реальности. Он запретил, отменил для своих подданных правду, отравив их нравственность и память, но и сам, отгораживаясь от нее все больше и больше, дошел в своем бункере до паранойи. Как все игроки в азартные игры, он построил крепость из суеверной лжи, в которую, в конце концов, и сам поверил с такой же фанатичностью, какой требовал от каждого немца. Его крах был не только спасением для человеческого рода; он показал, какую цену платят те, кто поднимает руку на правду.

Впрочем, и среди жертв, куда более многочисленных, чем их палачи, заметно уклонение от правды, хотя в их случае оно бесспорно непреднамеренное. Тем, кто пережил несправедливость или оскорбление, нет нужды врать ради освобождения от чувства вины, поскольку вины на них нет (хотя нередко в силу парадоксальных причин они испытывают стыд), но это еще не значит, что их воспоминания

не деформируются. Замечено, например, что многие из тех, кто воевал или прошел через тяжелый, травмирующий опыт, бессознательно фильтруют свои воспоминания: возвращаясь к ним в памяти или делая их достоянием третьих лиц, они предпочитают подробнее останавливаться на моментах передышки, отдыха, смешных или удивительных случаях, мелких подробностях и избегают мучительных для себя эпизодов. Последние, оставаясь невостребованными на дне хранилища воспоминаний, со временем тускнеют, теряют очертания. В этом смысле психологически достоверно состояние графа Уголино: ему нелегко рассказывать Данте о своей ужасной смерти; он решается на это лишь ради того, чтобы задним числом отомстить своему вечному врагу. Когда мы заявляем: «Я никогда этого не забуду», имея в виду событие, глубоко нас ранившее, но никак о себе с тех пор не напоминавшее и не оставившее реального следа, мы поступаем неосмотрительно: даже в обычной, повседневной жизни мы с радостью забываем подробности тяжелой болезни, от которой излечились, или закончившейся благополучно хирургической операции.

Действительность может искажаться не только в воспоминаниях: в целях самозащиты человек способен подменять факты и в реальном времени. В течение всего года заключения в Освенциме у меня был друг, почти брат, Альберто Д. Молодой, сильный, мужественный, умный, он скептически относился к тем, кто жил утешительными иллюзиями и обменивался ими с другими, например: «война через две недели закончится», «больше не будет селекций», «англичане высадились в Греции», «польские партизаны вот-вот освободят лагерь». Подобные слухи появлялись ежедневно и ничего общего с действительностью не имели. Альберто был депортирован в лагерь вместе с сорокапятилетним отцом. Перед большой селекцией в октябре 1944 года мы с Альберто говорили о предстоящем с ужасом, бессильным гневом, возмущением, смирением, но не искали спасения в иллюзиях. Селекция прошла, «старого» отца Альберто отобрали для отправки в газ, и Альберто изменился буквально на глазах. Он стал прислушиваться к новостям, способным хоть как-то обнадежить: русские уже близко, немцы больше не решатся на массовое истребление, последняя селекция была не такая, как все, отбира-

ли не в газ, отбирали обессилевших, но еще способных оправиться, таких, как его отец, который просто очень измучен, но не болен; больше того, известно даже, что их отправят в Явожно, совсем недалеко отсюда, там специальный лагерь для выздоравливающих, их используют только на легких работах.

Естественно, отца Альберто больше никто никогда не видел, а сам Альберто исчез на марше при эвакуации лагеря в январе 1945 года. Его родственники, которые прятались в Италии и остались живы, сами того не ведая, повели себя перед лицом непереносимой правды точно так же, как он: они создали для себя другую правду. Едва вернувшись, я счел своим долгом отправиться в родной город Альберто и рассказать его матери и брату все, что знал. Меня встретили с сердечным гостеприимством, но едва я приступил к рассказу, мать прервала меня: она уже все знает, по крайней мере, все, что касается Альберто, и не нужно повторять уже известные ей ужасы. Она *знает*, что ее сыну, единственному из всех, удалось незаметно отделиться от колонны и эсэсовцы его не расстреляли. Он спрятался в лесу и спасся, попав в руки русских. Пока у него просто не было возможности прислать весточку, но скоро он даст о себе знать, она в этом уверена. А теперь ей бы хотелось, чтобы я сменил тему и рассказал, как удалось выжить мне самому. Год спустя я снова оказался в этом городе и во второй раз навестил семью Альберто. За год «правда» слегка изменилась: Альберто в советской больнице, с ним все в порядке, но он потерял память, даже имени своего не помнит. Впрочем, он уже поправляется, еще немного и вернется домой, это известно из надежного источника.

Прошло больше сорока лет. Альберто так и не вернулся. Я больше не осмеливался показываться на глаза его близким со своей горькой правдой, столь отличной от той утешительной «правды», которую, поддерживая друг друга, выстроили они.

Избежать предвзятости невозможно. Сама эта книга — выжимки из воспоминаний, причем воспоминаний далеких. Истоки их начинают теряться, так что книгу надо защищать от себя самой. Возможно, поэтому в ней больше рассуждений, чем рассказов; скорее это анализ сегодняшнего поло-

жения дел, чем ретроспектива прошлых событий. Тем не менее содержащиеся в ней факты подтверждаются обширнейшей литературой, созданной о человеке «канувшем» (или «спасенном»), не без (сознательного или бессознательного) вклада тех, кто был причастен к тогдашним преступлениям. Этот обширный корпус воспоминаний отличается редкой согласованностью, расхождения в нем ничтожны. Что касается моих личных воспоминаний и отдельных не известных доселе историй, о которых я здесь рассказываю, они мною тщательно проверены. Время их слегка обесцветило, но мне кажется, что здесь они вполне уместны и восполняют пробелы в написанном мной прежде.

II
Серая зона

СУМЕЛИ ЛИ МЫ, вернувшиеся, понять сами и понятно объяснить другим наш опыт? Обычно под словом «понять» мы подразумеваем «упростить»: без основательного упрощения окружающий мир представлялся бы нам бесконечно и безнадежно запутанным, и мы лишились бы способности ориентироваться в нем и совершать те или иные поступки. Поэтому мы вынуждены превращать познаваемое в схему: для этой цели у рода человеческого имеются удивительные инструменты, выработанные им в процессе эволюции, — язык и концептуальное мышление.

Нам также свойственно упрощать историю, однако схемы, в которые укладываются факты, не всеми воспринимаются однозначно: случается, что одни историки понимают и реконструируют события неприемлемым для других историков способом. Так или иначе, в нас достаточно сильна потребность, возможно, восходящая к временам, когда мы формировались как социальные животные, делить среду обитания на «мы» и «они», и этот шаблон, этот принцип «друг или враг» превалирует в нашем сознании над всеми остальными. Общепринятая трактовка истории и, в первую очередь, история, которую преподают в школах, традиционно

страдает манихейством, отвергающим полутона и многозначность: исторические события сводятся к конфликтам, а конфликты к противоборству «своих» с «чужими» — афинян со спартанцами, римлян с карфагенянами. Отсюда и безумная популярность таких зрелищных видов спорта, как футбол, бейсбол и бокс, где соперничают две команды или два человека. Кто кому противостоит — сразу понятно, но только к концу матча или поединка определится побежденный и победитель. Если счет ничейный, зритель чувствует себя обманутым и разочарованным, потому что сознательно или бессознательно ждет победы одних и поражения других, идентифицируя соревнующихся с хорошими и плохими соответственно: ведь по его понятиям побеждать всегда должны хорошие, иначе мир просто рухнет.

Но если *стремление* к упрощению оправдано, само упрощение — не всегда. Как рабочая гипотеза оно имеет право на существование, но лишь до тех пор, пока признается за таковую и не выдается за истину. Исторические и природные явления в большинстве своем совсем не просты или не просты той простотой, какая нам по душе. Не простыми были и взаимоотношения людей внутри лагеря: они не укладывались в представление о жертвах, с одной стороны, и притеснителях — с другой. У тех, кто читает (или пишет) сегодня историю лагерей, заметна тенденция, даже потребность, отделить добро от зла, занять непримиримую позицию, повторить жест Христа на Страшном Суде: сюда — праведники, туда — грешники. В первую очередь требуют ясности молодые, им хочется расставить все точки над *i*. Они еще мало знают жизнь и потому не признают неоднозначности. Их представления в точности повторяют представления лагерных новичков. За исключением тех немногих, кто уже прошел через подобный опыт, все, независимо от возраста, готовились к чему-то ужасному, но ужасному в пределах понимания, укладывающемуся в рамки простой атавистической модели, которая и поныне живет в каждом: «свои» — внутри, «чужие», враги — снаружи, отделенные четкой, как на географической карте, границей.

Однако, едва попав в лагерь, люди испытывали настоящее потрясение. К их полной неожиданности мир, в который они оказались ввергнутыми, был ужасен, но ужасен непостижимо, поскольку не подходил под известную модель:

враг находился снаружи, но и внутри тоже, слово «свои» не имело четких границ, не существовало противостояния двух сил, расположенных по разные стороны границы, да и самой границы, одной-единственной, тоже не существовало, их было множество, этих границ, и они незримо отделяли одного человека от другого. У лагерных новичков еще оставалась надежда на солидарность товарищей по несчастью, но и эта надежда не оправдывалась: найти союзников, за очень редким исключением, не удавалось; лагерное мироздание населяли тысячи отдельных монад, которые постоянно вели между собой скрытую отчаянную борьбу. Когда в первые же часы пребывания в лагере со всей беспощадностью обнаруживалось, что агрессивность зачастую исходит от тех, кто по логике должен быть союзником, а не врагом, это настолько ошеломляло, что человек полностью терял способность к сопротивлению. Многим такое открытие стоило жизни, не в переносном, а в самом прямом смысле слова: трудно защититься от удара, которого не ждешь.

Эту агрессивность можно рассматривать в разных плоскостях. Не следует забывать, что система концентрационных лагерей с момента своего возникновения (совпадающего в Германии с приходом к власти нацистов) имела первоочередной целью сломить попытки сопротивления противников, поэтому для лагерного начальства вновь прибывший был противником по определению, независимо от того, какой ярлык ему наклеивался: его надо было немедленно стереть в порошок, пока другие не последовали его примеру или он сам не посеял семена организованного сопротивления. Эсэсовцы это четко себе уяснили, и имевший в каждом лагере свои особенности, но по существу всегда один и тот же зловещий ритуал вступления в концентрационный мир объясняется именно такой установкой: град ударов, часто по лицу, поток команд, окрики с наигранной или неподдельной злобой, раздевание догола, бритье волос, рваное тряпье вместо собственной одежды. Трудно сказать, были ли все эти детали разработаны заранее какими-то специалистами или они добавлялись и усовершенствовались по ходу дела; так или иначе случайными они не были: режиссура явно присутствовала.

К ритуалу вступления в лагерную жизнь, цель которого — сломить человека морально, добавлялись и другие, бо-

лее или менее продуманные элементы концентрационной структуры, в частности, разделение заключенных на простых и привилегированных. Бывали случаи, когда вновь прибывшего принимали пусть не как друга, но по крайней мере как товарища по несчастью; однако чаще всего старожилы (а ими становились уже через три-четыре месяца — лагерный век короток!) не скрывали своей неприязни и даже враждебности к новенькому. Новенький — по-немецки «цуганг» (примечательно, что *Zugang* — существительное отвлеченное, канцелярского свойства, оно переводится как «поступление, вступление, вход, доступ») — вызывал зависть, поскольку казалось, будто от него пахнет волей. Эта зависть была просто абсурдной, ведь известно, что первые дни заключения — самые мучительные; потом вырабатывается привычка, приобретается опыт, помогающий создать определенную защиту. Вновь прибывший выставлялся на посмешище, над ним издевались, как во всех сообществах издеваются над призывниками, первокурсниками и всякого рода «новенькими», вынуждая их пройти через обряд посвящения, напоминающий обряды примитивных народов, ибо лагерная жизнь, вне всякого сомнения, отбрасывала человека назад, возвращала его к примитивному поведению.

Возможно, враждебность по отношению к «цугангу» того же происхождения, что и любая другая форма нетерпимости: она является бессознательной попыткой объединить «своих» путем угнетения «чужих», создать за счет «чужих» ту самую солидарность, отсутствие которой было для заключенных источником дополнительных страданий, пусть и не всегда понятных им самим. Не последнюю роль играл и престиж, достижение которого, похоже, стало неискоренимой потребностью нашей цивилизации: забитая масса старожилов, избрав вновь прибывшего мишенью для издевательств, пыталась компенсировать за его счет собственную униженность, самоутвердиться, переложить на того, кто ниже, груз полученных сверху оскорблений.

Что касается вопроса о привилегированных заключенных, он сложнее, хотя и серьезнее; я бы даже назвал его основополагающим. Глупо, нелепо и исторически недальновидно думать, что такая адская система, какой был национал-социализм, позволила бы своим жертвам подняться до святости. Наоборот, она принижала их, низводила до своего

уровня, и в первую очередь делала это с самыми податливыми, чистыми людьми, политически и морально незрелыми. Еще много потребуется времени, прежде чем удастся без предвзятости, какой грешат подчас некоторые фильмы, с чистым сердцем исследовать пространство, отделяющее (и не только в нацистских лагерях) жертв от притеснителей. Лишь демагог может утверждать, что это пространство свободно. На самом деле оно никогда не бывает свободным; его заселяют подлецы или психопаты (иногда подлецы и психопаты в одном лице), и об этом не следует забывать, если мы хотим понять особенности человеческой природы, если хотим знать, как защитить свои души, когда вновь замаячит похожее испытание, или если просто хотим разобраться в том, что происходит на большом промышленном предприятии.

Привилегированные заключенные составляли меньшинство среди лагерного населения, но подавляющее большинство среди выживших. Даже если не брать в расчет тяжелый труд, побои, холод и болезни, следует помнить, что рацион при самых скромных подсчетах был совершенно недостаточен; физиологических резервов организма при таком питании хватало на два-три месяца, так что смерть от голода или болезней, вызванных голодом, — типичный удел заключенного. Чтобы избежать его, требовалось дополнительное питание, получить которое можно было, лишь став в большей или в меньшей степени привилегированным, иными словами — любыми правдами и неправдами, хитростью или жестокостью выделившись из общей массы.

Показательно, что воспоминания большинства вернувшихся из лагерей, будь то устные рассказы или мемуары, начинаются почти одинаково: потрясение при вступлении в концентрационный лагерь связано у всех с неожиданной, непонятной агрессивностью нового странного врага — узника-начальника, который вместо того, чтобы протянуть тебе руку помощи, успокоить, объяснить, что к чему, набрасывается на тебя, что-то кричит на непонятном языке, бьет по лицу. Он хочет подавить тебя, затушить искру достоинства, которая в тебе, возможно, еще теплится, а в нем уже угасла. И горе тебе, если твое достоинство не стерпит унижения, побуждая к ответным действиям: *zurückschlagen*, то

есть отвечать ударом на удар — непростительное нарушение железного, хотя и неписаного закона; такое может прийти в голову только новичку. Совершившего эту ошибку ждет показательная расправа. Все привилегированные, почувствовав опасность, бросаются на защиту установленного порядка: виновного ожесточенно и методично избивают до тех пор, пока он не покорится или не умрет, потому что привилегия по определению защищает и охраняет привилегию. Любопытно, что в лагерном жаргоне привилегия обозначается словом «protekcja» (из идиша или польского), явно восходящим к итальянскому, а значит, к латыни. Мне рассказали историю одного «новенького» — итальянского партизана, который как политический попал в рабочий лагерь. Его оттолкнули при раздаче супа, и он, еще не успев ослабеть физически, осмелился поднять руку на разливальщика. Сбежались дружки разливальщика и, чтобы остальным было не повадно, окунули нарушителя головой прямо в бачок с супом и держали до тех пор, пока он этим супом не захлебнулся.

Путь привилегированных наверх (не только в лагере, но в любом человеческом сообществе) — явление удручающее, но неизбежное; привилегированных нет только в утопиях. Долг каждого порядочного человека — вести войну с незаслуженными привилегиями, но не стоит забывать, что война эта бесконечна. Там, где существует единоличная власть или власть меньшинства над большинством, привилегии возникают и разрастаются, причем даже вопреки самой власти, хотя она, как правило, их терпит, а то и поощряет. Но ограничимся рамками лагеря, который (в том числе в советском варианте) может служить своего рода «лабораторией»: самое печальное заключается в том, что разношерстный класс узников-начальников и есть лагерный костяк. Это серая зона с размытыми контурами, разделяющая и одновременно объединяющая два мира — хозяев и рабов. Она обладает необыкновенно сложной внутренней структурой, тайну которой тщательно оберегает, из-за чего нам трудно о ней судить.

Серая зона *протекции* и коллаборации питается от разных корней, но в первую очередь ее взращивает власть, и чем власть концентрированнее, тем больше она нуждается во внешнем пособничестве. Нацизм в последние годы не

мог без него обойтись, вынужденный поддерживать свой порядок в покоренной Европе и одновременно восстанавливать боеспособность армий, обескровленных растущим военным сопротивлением противника. В оккупированных странах требовались не только рабочие руки, но и силы порядка, поскольку кадровые ресурсы самой немецкой власти к этому времени оказались полностью исчерпанными. К таким силам, различным по характеру и значению, следует отнести Квислинга в Норвегии, правительство Виши во Франции, Юденрат в Варшаве, республику Сало в Италии, а также украинских и прибалтийских наемников, привлекавшихся исключительно для грязной работы (в боевых действиях они никогда не участвовали), и зондеркоманды, о которых мы поговорим отдельно. Но коллаборационисты — перебежчики из лагеря противника, бывшие враги — ненадежны по своей природе: предав однажды, они способны предать снова. Поэтому отвести им второстепенную роль недостаточно, надо повесить на них вину, запачкать кровью, скомпрометировать насколько только возможно, сделать из них соучастников преступлений, чтобы отрезать им путь назад. Этот метод известен криминальным группировкам всех времен и народов, им всегда пользуется мафия, и, кстати, это единственное, что позволяет понять никак иначе не объяснимую жестокость, характерную для итальянского терроризма 70-х.

Однако (вопреки распространенным представлениям о героической борьбе с угнетателями) чем сильнее угнетение, тем больше готовность угнетенных сотрудничать с властью. Это явление также неоднородно, в нем множество оттенков и мотиваций: террор, идеологические заблуждения, подобострастное подражание победителям, слепая жажда власти, пусть до смешного мизерной и кратковременной, трусость и многое другое вплоть до трезвого расчета, позволяющего уклоняться от исполнения приказов и обходить установленные порядки. Все эти варианты, по отдельности или в тех или иных комбинациях, создают серую зону, представители которой, в отличие от непривилегированных, объединяются в стремлении сохранить и закрепить свои привилегии.

Но прежде чем начать подробно разбираться в причинах, толкавших некоторых заключенных к той или иной

форме сотрудничества с лагерным начальством, надо твердо сказать, что поспешное осуждение всех подряд уместно не во всех случаях. Основная вина, бесспорно, лежит на системе, на самой структуре тоталитарного государства; степень же вины отдельных коллаборантов, как крупных, так и мелких (правда, в равной степени отвратительных и бесчестных), определить нелегко. Судить их могут лишь те, кто сам находился в схожих обстоятельствах и на себе испытал, что значит существовать в условиях принуждения. Это хорошо понимал Мандзони: «Провокаторы, тираны, бросающие вызов, — писал он в романе «Обрученные», — все те, кто так или иначе обижает других, виновны не только в творимом ими зле, но и в том потрясении, в какое они повергают души обиженных ими». Положение оскорбленного не освобождает от вины, нередко действительно тяжкой, но я не знаю такого человеческого суда, который мог бы непредвзято определить степень этой вины.

Что касается меня, то если бы мне выпало судить, я бы с легким сердцем оправдал всех тех, чья вина в условиях максимального принуждения была минимальной. Вокруг нас, простых заключенных, крутились придурки самого низшего ранга. Это была разношерстная публика: подметальщики бараков, мойщики котлов, ночные дежурные, заправщики постелей (которым требование придирчивых немцев заправлять постели аккуратно, без единой морщинки, приносило мизерный доход), проверяльщики на вшивость и на чесотку, порученцы, переводчики, помощники помощников. В общем, это были такие же бедолаги, как и непривилегированные: отработав наряду со всеми полный рабочий день, они ради дополнительного пол-литра супа готовы были браться за любую третьестепенную работу — невинную, когда нужную, а когда и бесполезную, высосанную из пальца. Среди них редко встречались жестокие, но менталитет у всех был схожий, типично корпоративный, и все они готовы были до последнего бороться за свое «рабочее место», если кто-нибудь, снизу или сверху, вздумает на него покуситься. Их привилегии, стоившие им в конечном счете огромных дополнительных усилий, были ничтожны и не освобождали ни от подчинения лагерной дисциплине, ни от тягот и страданий. Шансов выжить у них, в сущности, было не больше, чем у всех остальных узников.

Грубые, наглые, они тем не менее врагами не были, во всяком случае, за врагов их никто не держал.

Еще осторожнее надо быть, когда судишь тех, кто занимал всевозможные начальственные посты. К начальникам (капо — по-немецки *Ка́po*, термин, восходящий к итальянскому слову «cа́po» и потому понятный итальянцам, получивший ударение на последнем слоге благодаря французским заключенным, но ставший общеупотребительным много лет спустя, после выхода одноименного фильма Понтекорво) относились бригадиры, старосты бараков, писари, а также заключенные, занимавшие самые разные, подчас очень важные должности (о чем я сам, будучи заключенным, и не подозревал) в администрации лагеря, в политотделе (одно из отделений гестапо), в отделе труда, в карцере. Некоторые благодаря своей ловкости или везению получали доступ к секретным данным. Среди них следует назвать таких людей, как Герман Лангбайн из Освенцима, Ойген Когон из Бухенвальда и Ганс Марсалек из Маутхаузена, ставших впоследствии историками. Трудно сказать, что в них восхищает больше — личное мужество или хитрость, дававшая им возможность самыми разными способами помогать товарищам по заключению. Внимательно приглядываясь к эсэсовским офицерам, рядом с которыми работали, они понимали, как воздействовать на каждого: кого подкупить, кому открыть глаза на предлагаемую ему жестокую роль, кого обвести вокруг пальца, а кого и припугнуть тем, что после войны неизбежно придется *redde rationem**. Названные трое, в частности, были членами подпольных освободительных организаций, так что деятельность их была опасна вдвойне: они могли поплатиться и за участие в Сопротивлении, и за то, что слишком много знали.

Таких людей нельзя или можно лишь условно назвать коллаборантами; скорее о них следует говорить как о скрытых противниках немцев. Этим они отличались от других заключенных на командных постах, одни из которых доказывали свою посредственность, другие проявляли себя как худшие представители рода человеческого. Власть не столько опустошает, сколько развращает. А власть, которой обла-

* Держать отчет (*лат.*).

дали они, имела особый характер и развращала больше обычного.

Власть — неотъемлемый элемент любого социального образования; она может быть контролируемой, неконтролируемой, узурпаторской, назначенной сверху или выдвинутой снизу, полученной заслуженно, благодаря корпоративным или родственным связям, а также социальному или материальному статусу, и вполне вероятно, что господство одного человека над другим в той или иной степени было заложено в нас на генетическом уровне еще в те времена, когда мы были стадными животными. Никем не доказано, что власть как таковая коллективу вредна, но власть лагерных капо, начиная с бригадиров, была почти всегда безграничной — вернее, нижний предел их жесткости был предопределен заранее (слишком мягких наказывали или даже смещали), верхний же не имел ограничений. Другими словами, они были свободны совершать над подвластными им заключенными любые, самые жестокие действия под предлогом наказания за какую-либо провинность или вообще без всякого предлога. Вплоть до конца 1943 года нередки были случаи, когда капо забивали заключенных до смерти, зная, что не понесут за это никакого наказания. Только позже, когда остро встала проблема рабочих рук, появились некоторые ограничения: плохое обращение капо с заключенными не должно было сказываться на работоспособности последних. Однако «плохое обращение» к тому времени уже укоренилось, и новое правило не всегда соблюдалось.

Лагерь в меньших масштабах, но более выпукло воспроизводит иерархическую структуру тоталитарного государства, где все полномочия на власть даются сверху и где контроль снизу почти невозможен. Но это *почти* — очень важная деталь: еще не существовало такого государства, которое было бы тоталитарным (то есть всеконтролирующим) в полном смысле этого слова. Даже в Третьем рейхе и в Советском Союзе при Сталине имело место противодействие тотальному произволу; в тех или иных пределах его сдерживали общественное мнение, судебная система, иностранная пресса, церковь, человеческая совесть, вытравить которую за десять-двадцать лет тирании невозможно. Только в лагере контроль снизу был равен нулю и власть маленьких сатрапов была абсолютной. Понятно, что такая

безграничная власть как магнитом притягивала к себе тех, кто по натуре был властолюбив; тянулись к ней и личности с умеренным честолюбием, привлеченные немалыми материальными выгодами, которые сулили начальственные должности. Таких власть развращала в первую очередь.

Кто становился капо? В этом вопросе следует разобраться. В первую очередь те, кому представлялась такая возможность, а именно личности, в которых начальник лагеря или его уполномоченные (часто хорошие психологи) угадывали потенциальных коллаборантов: набранные по тюрьмам уголовники, для которых должность надсмотрщика была превосходной альтернативой заточению; политические заключенные, сломленные за пять-десять мучительных лет если не физически, то морально; впоследствии и евреи, коим даже толика власти казалась возможностью избежать «окончательного решения» их судьбы. Много было и таких (мы уже говорили об этом), кто просто стремился к власти. Назовем садистов — немногочисленных, но очень страшных, поскольку привилегированное положение давало им право мучить и унижать подчиненных. Назовем людей с комплексом неполноценности (это важная составная часть лагерного микрокосмоса, воссоздававшего макрокосмос тоталитарного общества): и в лагере, и в обществе ни на что не способные, ничем не примечательные люди, дорвавшись до власти, пресмыкаются перед вышестоящими начальниками, добиваясь таким способом не достижимого другим путем продвижения по социальной лестнице. Многие из притесняемых, заразившись вирусом власти от своих угнетателей, неосознанно стремились идентифицировать себя с ними.

Об этой идентификации, о миметизме, имитации и обмене ролями притеснителя и жертвы спорили немало и успели наговорить много всякой всячины: правдивой и лживой, надуманной и банальной, трогательной и глупой. Эта тема — не целина, а плохо вспаханное, вдоль и поперек истоптанное поле. Режиссер Лилиана Кавани, которую попросили в нескольких словах объяснить смысл ее прекрасного, но ошибочного фильма, сказала: «Все мы жертвы или палачи и выбираем эти роли по собственному желанию. Только маркиз де Сад и Достоевский хорошо это поняли». «В любой обстановке, в любых отношениях, — добавила она, — обна-

руживается пара „жертва — палач", более или менее ярко выраженная обычно на бессознательном уровне».

Я не разбираюсь в бессознательном, в глубинах психики, но знаю, что те немногие, кто разбираются, всегда осторожны в своих суждениях. Не знаю и не стремлюсь узнать, живет во мне убийца или нет, знаю только, что невинной жертвой я был, а убийцей — нет; знаю, что убийцы существовали, и не только в Германии, и существуют теперь, востребованные и невостребованные, и что ставить знак равенства между убийцей и его жертвой — безнравственно; это извращенное эстетство или злой умысел. В любом случае тот, кто делает это, вольно или невольно оказывает ценную услугу фальсификаторам правды. Я знаю, что в лагере, как и вообще на сцене человеческой жизни, всякое случалось, но единичный случай ничего не доказывает. Прояснив этот вопрос и снова напомнив, что уравнивать обе роли — значит, начисто игнорировать нашу потребность в справедливости, я позволю себе еще порассуждать на эту тему.

Что правда, то правда, по обе стороны колючей проволоки существуют люди серые, двуличные, готовые служить и нашим и вашим. Чем сильнее давление лагеря, тем больше их число. На них лежит определенная доля вины (особенно если выбор их был добровольным), но основная вина все же — на системе, средством, орудием которой они являются. Бóльшая часть притеснителей (и это тоже правда) во время (или чаще после) совершения злодеяния отдавали себе отчет в том, что они совершают (или совершили) преступление; возможно, они мучились потом угрызениями совести или даже понесли наказание, но всего этого недостаточно, чтобы причислить их к жертвам. Точно так же, как недостаточно ошибок оступившихся, проявивших слабость, чтобы поставить их на одну доску с их надсмотрщиками. Заключенные лагерей, сотни тысяч людей разных социальных слоев почти из всех европейских стран, представляли собой срез человеческого сообщества. Даже если не брать в расчет адских условий, в которые их безжалостно ввергли, исходя из какой логики можно было требовать, чтобы все они как один проявили стойкость и заслужили ореол святости? На самом деле в подавляющем большинстве случаев их поведение было жестко обусловлено обстоятельствами: лишения, испытываемые в течение нескольких

недель или месяцев, ставили перед ними задачу чисто физического выживания; ежедневная борьба с голодом и холодом, усталость, побои не оставляли им (особенно в моральном плане) никакого выбора; лишь единицы, выдержав испытание, выжили благодаря невероятному стечению разных случайностей, иначе говоря, спаслись чудом, так что нет смысла искать в их судьбах какое-то объединяющее начало, кроме разве одного — крепкого здоровья.

Пример крайней степени коллаборации — зондеркоманды (*Sonderkommandos*), существовавшие в Освенциме и других лагерях уничтожения. В данном случае трудно говорить о привилегиях, потому что, хотя работавшие в лагерях и получали право (но какой ценой!) в течение нескольких месяцев есть досыта, им никто не завидовал. Эти ничего не говорящие своим названием «спецкоманды» обслуживали крематории; они подчинялись СС и набирались из заключенных. В их обязанности входило поддерживать порядок среди вновь прибывших (часто не подозревавших, что их ждет впереди), запускать их в газовые камеры, затем извлекать оттуда трупы, раздевать, сортировать одежду, обувь, содержимое чемоданов, срывать с зубов золотые коронки, срезать женские волосы, отвозить тела в крематорий, следить за работой печей, выгребать пепел. Состав освенцимской зондеркоманды колебался в разное время от семисот до тысячи человек.

Те, кто в нее входил, не избежали общей участи; больше того, все они были обречены: эсэсовцы неусыпно следили за тем, чтобы ни один человек из команды не остался в живых и не смог ничего рассказать. За время существования Освенцима сменилось двенадцать команд. Каждая работала по нескольку месяцев, потом уничтожалась, причем всякий раз новым способом, чтобы предупредить возможное сопротивление, и следующая команда в качестве «посвящения» сжигала трупы предыдущей. Последняя зондеркоманда восстала в октябре 1944 года, взорвала одну из печей и была уничтожена в неравной схватке с эсэсовцами, о чем я расскажу позже. Из тех, кто работал в этих командах, выжили единицы; избежать смерти им удалось исключительно благодаря невероятному везению. Ни у кого из них после освобождения не было желания вспоминать

и рассказывать другим о той чудовищной работе, какую они выполняли. Все, что мы знаем о зондеркомандах, почерпнуто из скудных свидетельских показаний этих чудом выживших людей и их «работодателей» на многочисленных процессах, из разрозненных сведений, полученных от гражданских (немцев и поляков), которые каким-то образом контактировали с ними, и из дневника — исписанных наскоро, для памяти, листочков, спрятанных кем-то неподалеку от освенцимского крематория в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь их найдет. И хотя все в один голос говорят об одном и том же, трудно, почти невозможно представить себе, как эти люди жили день за днем, как выдерживали все это, как относились к самим себе.

В первое время зондеркоманды набирались эсэсовцами из заключенных, уже внесенных в лагерные списки. Известно, что внимание обращалось не только на физическую выносливость, но и на лица. Иногда (правда, такое случалось редко) к работе принуждали силой. Позже уже предпочитали подбирать кандидатов прямо на железнодорожной платформе, сразу же по прибытии очередного эшелона: «психологи» из СС сообразили, что в зондеркоманды проще рекрутировать «новеньких», когда они, измученные долгой дорогой, растерянные, потерявшие всякую надежду и не способные к сопротивлению, выходят из поезда и готовы ухватиться за любую возможность избежать ада.

Формировались зондеркоманды главным образом из евреев. В этом не было ничего удивительного, если учесть, что с 1943 года, с тех пор, как главным назначением лагеря стало уничтожение евреев, они составляли 90–95% всего народонаселения Освенцима. И все же это был верх вероломства и ненависти! Одни евреи должны отправлять в печь других евреев, чтобы лишний раз подтвердить: евреи — неполноценная раса, недочеловеки, они способны на все, готовы убивать даже своих соплеменников. С другой стороны, известно, что среди эсэсовцев были и такие, кто не одобрял массовых убийств и не привык относиться к ним, как к будничному явлению. Переложив на плечи самих жертв часть этой работы, причем самую грязную, они как бы (и даже без «как бы») облегчали свою совесть.

Безусловно, было бы несправедливо считать покорность отличительной чертой именно еврейского характера: в зон-

деркомандах работали не только евреи, но и немцы, поляки, правда, в более «благородной», руководящей роли, а также русские военнопленные, которых нацисты ставили не намного выше евреев. Впрочем, русских (чье поведение ничем не отличалось от поведения евреев) было мало, потому что их вообще в Освенциме было мало: бóльшую их часть успели истребить сразу же после взятия в плен, расстреливая из пулеметов над огромными ямами, ставшими для них братскими могилами.

Зондеркоманды из-за своей причастности к ужасной тайне строго изолировались от остальных заключенных и всего внешнего мира. Тем не менее (и это подтвердит всякий, прошедший через подобный опыт) в любой стене всегда найдется брешь, через которую обязательно что-нибудь просочится, потому что секретные сведения, пусть не все, пусть в искаженном виде, обладают неудержимой силой распространения. Смутные обрывочные слухи о зондеркомандах доходили до нас еще в лагере, позднее они получили подтверждение из уже упомянутых выше источников, но чудовищная специфика работы, выполняемой этими командами, накладывала отпечаток сдержанности на все свидетельства; и сегодня трудно себе представить, как можно месяцами заниматься подобным ремеслом. Некоторые утверждали, что этим несчастным выдавалось большое количество алкоголя, так что они постоянно были пьяны и ничего не соображали. Один из них признался: «При такой работе или в первый же день сходишь с ума, или привыкаешь». А вот признание другого выжившего: «Да если бы я отказался убивать, они убили бы меня. Но я хотел выжить, чтобы отомстить, чтобы свидетельствовать против них. Не верьте, что мы чудовища, мы такие же, как вы, только более несчастные».

Очевидно, что все эти признания, а также то, что рассказывали про членов зондеркоманд или что они рассказывали про себя сами, нельзя полностью принимать на веру. От людей, прошедших через такое, невозможно ожидать свидетельских показаний в юридическом значении этого термина; самое большее, что мы можем услышать, — это жалобы, проклятья, стремление объясниться, оправдаться. Глядя на Медузу Горгону, легче увидеть на ее лице желание освободиться от внутренних терзаний, чем прочесть на нем правду.

Зондеркоманды — самое дьявольское преступление национал-социализма. За практическими соображениями (расчетливо использовать трудоспособных людей, заставить других выполнять самую ужасную работу) просматриваются и более глубокие причины, одна из которых — попытка переложить на самих жертв всю тяжесть вины, чтобы те не могли утешаться мыслью о своей невиновности. Трудно, неприятно заглядывать в эту бездну зла, тем не менее, я уверен, это необходимо, поскольку то, что могло произойти вчера, может произойти и завтра, коснуться нас или наших детей. Нельзя поддаваться искушению брезгливо отвернуться от правды, не видеть ее. Созданием зондеркоманд немцы хотели сказать: «Мы господствующий народ, да, мы ваши губители, но вы не лучше нас; если мы захотим, а мы хотим этого, то уничтожим не только ваши тела, но загубим и ваши души, как загубили свои».

Венгерский врач Миклош Нишли уцелел среди немногих после уничтожения последней освенцимской зондеркоманды. Он был известным патологоанатомом, специалистом по вскрытиям, и главный врач Биркенау эсэсовец Менгель (избежавший правосудия и умерший несколько лет назад своей смертью) взял его к себе, обеспечил ему необходимые условия и обращался с ним почти как с коллегой. Нишли должен был заниматься в первую очередь изучением близнецов: где, как не в Биркенау, единственном месте на земле, имелась возможность изучать трупы одновременно убитых близнецов? Кроме этой специальной обязанности, которой, заметим мимоходом, Нишли не очень противился, он был лечащим врачом зондеркоманды, с которой находился в постоянном контакте. Так вот, он рассказал об одном факте, показавшемся мне примечательным.

Эсэсовцы, как я уже говорил, тщательно отбирали кандидатов в зондеркоманды: сначала в лагере, позже — прямо на перроне, из прибывающих составов, без колебаний убивая тех, кто пытался уклониться или проявлял неспособность к данной работе. По отношению к членам только что образованной команды применялся тот же метод подавления и разделения, что и ко всем остальным заключенным, особенно к евреям, которым внушалась мысль о том, что они неполноценные существа, враги Германии, а потому не достойны жить; работа до изнеможения, до последнего

вздоха преподносилась как особая милость. К тем же, кто успел отработать в зондеркоманде определенный срок, к «ветеранам» отношение было другое: эсэсовцы чувствовали, что они и эти обесчеловеченные существа — в одной упряжке, что они — соучастники общего грязного дела. Нишли рассказывает, как однажды во время «затишья в работе» присутствовал на футбольном матче между СС и СК (между эсэсовцами из охраны крематория и членами спецкоманды). Посмотреть игру пришло много эсэсовцев из других подразделений, а также не занятые в матче члены команды; все болели, кричали, хлопали, подбадривали игроков, как будто это была обычная игра на какой-нибудь деревенской лужайке, а не перед входом в ад.

Ничего похожего не случалось, да и не могло случиться с другими категориями заключенных, но с членами зондеркоманды, с «вóронами крематория» эсэсовцы готовы были соревноваться на равных или почти на равных. Правда, у этого равенства была сатанинская ухмылка: наконец-то мы добились своего! Вы больше не евреи, не антираса, не враг Тысячелетнего рейха номер один, не народ, отказавшийся сотворить себе кумиров. Мы обласкали вас, развратили и утащили с собой на дно. Не воображайте, что вы чисты; вы запачканы кровью, как мы, как Каин, потому что вы тоже братоубийцы. Так что идите сюда, будем вместе играть в футбол.

Нишли рассказал еще одну историю, над которой стоит задуматься. Людей из прибывающих эшелонов сразу же запихивали в газовые камеры и уничтожали; зондеркоманда выполняла свою ужасную работу день за днем, распутывая клубки тел, моя их из шлангов и отвозя затем в крематорий для сжигания. И вдруг на полу камеры они обнаружили еще живую девушку. Случай исключительный, уникальный. Возможно, благодаря другим телам, создавшим вокруг нее что-то вроде заградительного барьера, она оказалась в воздушном мешке и могла дышать. Они растерялись: смерть стала их ежечасным ремеслом, обычным делом, потому что, как сказал один из них, «или в первый же день сходишь с ума, или привыкаешь», но эта девушка была жива. Они спрятали ее, согрели, напоили мясным бульоном, попытались узнать, поняла ли она, что с ней произошло. Девушке было шестнадцать лет, она не понимала, где она и что с ней,

не помнила, как ехала в опломбированном вагоне, как проходила селекцию, как раздевалась, входила в камеру, откуда никто ни разу не вышел живым. Не помнила, не понимала, но видела и потому должна была умереть. Люди из спецкоманды знали это, как знали, что и сами должны умереть по той же самой причине. Но эти рабы, одурманенные алкоголем, озверевшие от ежедневных убийств, вдруг увидели перед собой не безликую массу, не заполнивший перрон поток запуганных оглушенных существ, а человека, личность.

Как не вспомнить здесь «необычную почтительность», невольную нерешительность «гнусного монатто» в эпизоде с умершей от чумы малышкой Чечилией все из тех же «Обрученных» Мандзони, когда мать не позволила бросить ее в повозку вперемешку с другими трупами? Такие факты нас всякий раз удивляют, потому что противоречат нашему представлению о том, будто каждый человек живет по определенной логике, по раз и навсегда сложившимся в его голове представлениям о добре и зле, и будто представления эти непоколебимы. На самом деле удивляться тут нечему, потому что человек вовсе не таков. Вопреки всякой логике в нем могут сосуществовать одновременно жалость и жестокость, кстати, жалость уже сама по себе нелогична. Не существует взаимосвязи между жалостью, которую мы испытываем, и масштабами страданий, вызывающих нашу жалость. Одна-единственная девочка по имени Анна Франк пробуждает сочувствия больше, чем мириады таких же несчастных, но не попавших в поле нашего зрения. Может, так и должно быть: если бы мы должны были и умели сострадать всем, мы просто не могли бы жить. Возможно, только святые награждены страшным даром жалеть многих. Монатти же, члены зондеркоманды да и все мы в большинстве случаев способны лишь испытывать приливы жалости к единицам, со-чувствовать со-человеку, *митменшу** — человеческому существу из плоти и крови, которое попадает в предусмотрительно сжатое пространство наших «близоруких» чувств.

Вызвали врача, тот сделал девушке укол, привел в чувство. Да, газ на нее не подействовал, она выжила, могла

* «Со-человек» (*нем.*).

жить дальше, но где и как? В этот момент неожиданно появляется Мусфельд, один из эсэсовцев, заправлявших «хозяйством смерти». Врач отозвал его в сторону, объяснил суть дела. Мусфельд секунду поколебался, но потом решил: девушка должна умереть. Если бы она была постарше — вопрос другой, можно было бы понадеяться на ее благоразумие, убедить никому не рассказывать о том, что с ней случилось, но этой всего шестнадцать, разве ей можно доверять? Тем не менее сам он не стал марать руки, а вызвал подчиненного, который убил девушку, выстрелив ей в затылок. У этого Мусфельда не было милосердия, ежедневное участие в бойне сделало его изощренным садистом; его биография пестрит жестокими эпизодами. В 1947 году его судили, справедливо приговорили к смертной казни и повесили в Кракове. Но мы знаем, что даже его нельзя назвать непоколебимым, и, если бы ему выпало жить в другое время и в других условиях, возможно, он был бы как все, обыкновенным человеком.

В «Братьях Карамазовых» Грушенька рассказывает притчу про луковку: жила-была одна злющая баба, потом она померла и попала в ад. Но ангел-хранитель, желая вызволить ее из ада, вспомнил, что один раз, всего один-единственный, она выдернула у себя в огороде луковку и подала нищему. Тогда он протянул ей эту луковку, и она по ней выкарабкалась из адского огня. Эта притча всегда вызывала у меня отвращение: какое чудовище в человеческом обличье хоть раз в жизни не подарило луковку если не постороннему, то хотя бы своим детям, жене, собаке? Этого единичного и краткого порыва сочувствия недостаточно, чтобы оправдать Мусфельда, но достаточно, чтобы и его поместить (пусть на границе, с самого края) в серую зону — территорию двойственности, характерную для режимов, основанных на слепом повиновении и терроре.

Осудить Мусфельда было несложно, и вряд ли трибунал, приговоривший его к смертной казни, испытывал какие-то сомнения. Другое дело — зондеркоманды; когда речь заходит о них, наша настоятельная потребность судить слабеет, нас смущают вопросы, множество вопросов о человеческой природе, на которые не так просто найти вразумительные ответы. Почему они соглашались выполнять такую работу? Почему не бунтовали? Почему не предпочли смерть?

Факты, которыми мы располагаем, позволяют частично ответить на эти вопросы. Соглашались не все: кто-то бунтовал, зная, что идет на верную смерть. По крайней мере в одном случае у нас имеются неопровержимые данные: группа из четырехсот евреев с острова Корфу, набранных в июле 1944 года в зондеркоманду, в полном составе отказалась выполнять работу и незамедлительно была отправлена в газ. Сохранилась память о различных случаях одиночных бунтов: никто из взбунтовавшихся не избежал мучительной смерти (Филип Мюллер из зондеркоманды, один из немногих уцелевших, рассказал о своем товарище, живьем засунутым эсэсовцами в печь), многие кончали жизнь самоубийством в момент рекрутирования или сразу же после; в конце концов нельзя забывать, что именно зондеркоманда в октябре 1944 года предприняла безнадежную попытку организовать восстание — единственное восстание в истории Освенцима.

Дошедшие до нас сведения об этом событии не назовешь ни исчерпывающими, ни полностью достоверными. Мы знаем лишь, что восставшие (они обслуживали два из пяти крематориев Биркенау) не имели контактов ни с польскими партизанами по ту сторону колючей проволоки, ни с подпольной организацией Сопротивления внутри лагеря, тем не менее, будучи почти безоружными, они взорвали крематорий № 3 и дали бой эсэсовцам. Сражение длилось недолго: примерно четыреста пятьдесят человек были убиты сразу, кое-кому из мятежников удалось перерезать колючую проволоку и бежать из лагеря, но очень скоро все были пойманы. Троих убили на месте, двенадцать ранили.

Среди известных нам жалких чернорабочих смерти были такие, кто предпочитал лишнюю неделю жизни (но что это за жизнь?) немедленной смерти, однако ни разу не решился и не дал заставить себя убить кого-то собственноручно. Хочу еще раз повторить: не имеют права судить их ни те, кто прошел через лагерный опыт, ни тем более те, у кого такого опыта не было. Кому хватит смелости, я посоветовал бы прежде, чем судить других, провести мысленный эксперимент над самим собой: представить себя запертым в гетто, месяцами, а то и годами страдающим от постоянного голода, непосильной работы, унижений, скученности, невозможности уединиться, а также отправить или получить

информацию, представить себя в полной изоляции от остального мира, бессильным помочь близким, умирающим один за другим у тебя на глазах. И вот настает день, когда тебя запихивают в поезд, по восемьдесят, а то и по сто человек в каждый товарный вагон, и везут в неизвестность много бессонных дней и ночей, пока не выбросят, наконец, под стеной не постижимого никаким разумом ада. Здесь тебе предлагают жизнь, но взамен на страшное и не очень понятное задание; даже не предлагают, а навязывают. Вот это, как мне кажется, и есть тот самый *Befehlnotstand* — не подлежащий обсуждению приказ, приказ-бедствие, приказ-принуждение, от которого действительно невозможно уклониться; он несравним с теми приказами, на которые систематически и без зазрения совести ссылались привлеченные к суду нацисты, а вслед за ними, позже, военные преступники в разных странах. В первом случае выбор был невелик: либо немедленное подчинение, либо смерть; во втором дело касалось карьеры, но с помощью хитрых маневров от выполнения приказа можно было уклониться (некоторые так и делали). Ценой такого уклонения становилось умеренное наказание, задержка в продвижении по служебной лестнице или (в самом крайнем случае) отправка ослушавшегося на передовую.

Предложенный мною эксперимент приятным не назовешь. Веркор в своем романе «Оружие мрака» попытался описать нечто подобное, рассказать о «смерти души», но, перечитывая его сегодня, я нахожу, что он непростительно страдает чрезмерным эстетизмом и литературным гурманством. Правда, о смерти души речь там идет, это несомненно. Никто заранее не знает, как долго и под каким давлением его душа сможет продержаться, прежде чем сломится или разрушится. Каждое человеческое существо обладает определенным запасом сил, количество которых ему неизвестно. Насколько этот запас велик или мал, и есть ли он вообще, можно узнать, лишь попав в чрезвычайные условия. Когда мы, вернувшиеся, рассказываем о том, что нам пришлось пережить (даже не касаясь таких крайностей, как зондеркоманды), нередко можно услышать от кого-то из слушателей: «Я бы на твоем месте и дня не выдержал». Такое утверждение не имеет под собой почвы: невозможно влезть в шкуру другого. Каждый человек — настолько сложное явление, что за-

ранее предугадать свое поведение в экстремальной ситуации он не может. Поэтому я повторяю: «вóроны крематория» достойны как жалости, так и строгого осуждения, и прошу только об одном — не спешите выносить им приговор.

Та же самая *impotentia judicandi** парализует нас в случае с Румковским. История Хаима Румковского непосредственно с лагерем не связана, хотя заканчивается именно там, в лагере. Это история гетто, яркий пример того, как под неотвратимым гнетом раздваивается человеческая душа, вот почему мне кажется уместным вернуться к этой истории здесь, хотя я и рассказывал ее раньше.

По возвращении из Освенцима я обнаружил в кармане любопытную монету из легкого сплава, она и по сей день у меня. Монета исцарапана и покрыта ржавчиной, с одной стороны на ней изображены еврейская звезда (щит Давида), дата (1943) и слово («getto»), а с другой написано: «Quittung über 10 Mark» и «der Älteste der Juden in Litzmannstadt» («Соответствует 10 маркам» и «Старейшина еврейской общины в Литцманштадте»). Эта монета имела хождение только в гетто. Много лет я не вспоминал о ее существовании, а потом, когда примерно в 1974 году она попалась мне на глаза, я восстановил ее удивительную и страшную историю.

Нацисты переименовали польский город Лодзь, назвав его Литцманштадтом в честь немецкого генерала Литцмана, одержавшего несколько побед над русскими в Первую мировую войну. В конце 1944 года последние из оставшихся в живых жители лодзинского гетто были депортированы в Освенцим, и эту монету, уже никому не нужную, я нашел у входа в лагерь.

В 1939 году, к началу войны, в Лодзи было 750 000 жителей. Это был фабричный город — один из самых «современных» и самых уродливых городов Польши. Он существовал за счет текстильной промышленности, как английский Манчестер или итальянская Биелла, и жизнь в нем была обусловлена работой сотен больших и маленьких предприятий, к тому времени уже сильно устаревших. Как и во всех более или менее крупных городах оккупированной Восточной Европы,

* Неспособность судить (*лат.*).

нацисты поспешили организовать в Лодзи гетто, восстановив и превзойдя в своей бесчеловечности порядки гетто времен Средневековья и Контрреформации. Созданное первым (уже в феврале 1940 года) и уступавшее по численности населения лишь варшавскому, лодзинское гетто насчитывало более 160 000 евреев; просуществовало оно до осени 1944 года, то есть дольше всех нацистских гетто, что объясняется двумя причинами: экономической выгодой и личностью председателя «еврейского совета», юденрата.

Звали председателя Хаим Румковский; разорившийся мелкий промышленник, он в силу разных обстоятельств долго переезжал с места на место, пока наконец в 1917 году не осел в Лодзи. В 1940-м он был шестидесятилетним бездетным вдовцом. В общине пользовался определенным уважением: управляющий благотворительным еврейским фондом, он был известен как человек невежественный, но волевой и энергичный. Должность председателя (то есть старейшины) юденрата в сущности была ужасной, тем не менее это была должность: она давала возможность подняться на несколько ступенек выше по социальной лестнице, обеспечивала права и привилегии, иначе говоря, давала власть. А Румковский в ту пору очень любил власть. Как он получил это место — неизвестно: то ли в результате подлой нацистской шутки (Румковский был или казался безобидным дурачком, одним словом, идеально подходил на роль шута), то ли он сам интриговал, чтобы его назначили, уж очень сильна была в нем тяга к власти. Известно, что четырьмя годами своего правления или, точнее сказать, своей диктатуры он был обязан поразительной смеси непомерного тщеславия, варварского жизнелюбия, организованности и прямо-таки королевской дипломатичности. Он очень скоро вошел в роль абсолютного, но при этом просвещенного монарха, к чему его нередко подталкивали немецкие хозяева, которые хоть и потешались над ним, но не могли не ценить его административных способностей и любви к порядку. Ему было разрешено чеканить металлические монеты (такие, как моя) и печатать купюры на бумаге с водяными знаками, которую ему поставляли официально. Этими деньгами платили изнуренным до крайности рабочим гетто. Они могли покупать на них продукты, поддерживать свой скудный рацион, составлявший в среднем 800 ка-

лорий в день. (Напомню: чтобы выжить в условиях абсолютного покоя, нужно не менее 2000 калорий в день.)

От своих голодных подданных Румковский ждал в ответ не просто послушания и уважения — он ждал от них проявления любви (в этом отличие современных диктатур от диктатур древности). В его распоряжении было целое войско превосходных художников и ремесленников, которые по первому же его требованию за четвертушку хлеба бросались рисовать и печатать марки с изображением его бородатой головы, осиянной божественным светом — светом надежды и веры. Была у него и коляска, запряженная худющей, кожа да кости, лошадью, в которой он разъезжал по улицам своего крошечного королевства, населенного нищими и попрошайками, разъезжал, как и положено королю, в мантии и в сопровождении эскорта подхалимов и убийц. Придворные поэты сочиняли гимны, в которых прославляли его «сильную, твердую руку», мир и порядок, царившие благодаря ему в гетто. По его приказу в школах (если их можно было так назвать), ежедневно опустошаемых эпидемиями, голодом и немцами, дети должны были писать сочинения во славу «нашего дорогого и мудрого председателя». Как и все самодержцы, он поспешил создать действенную полицию, номинально для поддержания порядка, а на самом деле для охраны собственной персоны и введения собственных правил — шестьсот вооруженных палками человек и неизвестное число шпионов. За время правления он произнес немало своеобразных речей (некоторые из них сохранились), усвоив наигранно-вдохновенную ораторскую технику Муссолини и Гитлера, подчинявших себе толпу псевдодоверительным тоном, который та принимала за стремление к взаимопониманию и диалогу и одобряла овациями. Возможно, он подражал им специально, а возможно, пытался бессознательно походить на захвативший Европу и воспетый Д'Аннунцио образ «востребованного героя». Впрочем, скорее всего, он вел себя, как все мелкие тираны, — демонстрировал свое бессилие тем, кто был выше, и всемогущество — тем, кто ниже. Обладатель трона и скипетра может позволить себе говорить таким образом, потому что не боится ни возражений, ни насмешек.

И все равно фигура Румковского была сложней, чем казалась на первый взгляд. Он не был простым изменником

или предателем; трудно поверить, но в каком-то смысле ему приходилось настоятельно убеждать себя самого, что он и есть мессия, спаситель своего народа, которому он, по крайней мере время от времени, действительно желал добра. Роль благодетеля польстит и самому закоренелому тирану, но, чтобы прослыть благодетелем, надо хоть иногда делать добро. Парадоксальным образом он отождествляет себя не только с угнетателями, но и с угнетенными, потому что человек, как говорил Томас Манн, — сложное создание и, позволим заметить, становится тем сложнее, чем больше подвергается давлению; в этом случае, потеряв ориентацию, как обезумевший компас на магнитном полюсе, он может избежать нашего суда.

Хотя Румковский постоянно подвергался унижениям и издевательствам со стороны немцев, он скорее ощущал себя господином, нежели рабом. И к своей власти относился серьезно: когда гестапо, не поставив его в известность, схватило членов «его» юденрата, он мужественно встал на их защиту, с достоинством снося насмешки и оскорбления. В других случаях он пытался торговаться с немцами, которые требовали все больше и больше лодзинской мануфактурной продукции и одновременно освобождения от «лишних ртов» — отправки стариков, детей и нетрудоспособных в газовые камеры сначала Треблинки, а затем Освенцима. Твердость, с какой он брался усмирять попытки нарушения порядка своими подданными (в Лодзи, как и в других гетто, существовали очаги отчаянного политического сопротивления сионистов, бундовцев и коммунистов), была не столько заискиванием перед немцами, сколько ответом на «оскорбление королевского величества», защитой его монаршей чести.

В сентябре 1944 года, когда русский фронт начал приближаться, нацисты попытались ликвидировать лодзинское гетто. Десятки тысяч мужчин и женщин были депортированы в Освенцим, в *anus mundi* — последнюю клоаку «немецкой вселенной». Изнуренные, измученные, почти все они сразу же были уничтожены. В гетто оставили тысячу мужчин для демонтажа фабричного оборудования и уничтожения следов массовых убийств. Через некоторое время их освободила Красная Армия, и им мы обязаны приводимыми ниже сведениями.

Есть две версии конца Хаима Румковского — словно двойственность, под знаком которой он жил, наложила свой отпечаток и на его смерть. Согласно первой версии, во время ликвидации гетто он, не желая расставаться со своим братом, пытался противиться его депортации. Немецкий офицер предложил ему добровольно присоединиться к брату, и он согласился. Другая версия утверждает, что Румковского пытался спасти Ганс Бибов, еще одна загадочная, а точнее, темная личность. Этот немецкий промышленник был ответственным чиновником в администрации гетто и в то же время подрядчиком. Последняя должность была деликатного свойства, поскольку лодзинские текстильные фабрики работали на германские вооруженные силы. Бибов не был чудовищем: он не ставил себе целью специально создавать мучительные условия для евреев, мстя им за то, что они евреи; напротив, он давал им заработать на поставках законным или каким-либо иным способом. Ему не доставляло удовольствия видеть страдания людей в гетто, но главным для него было, чтобы рабочие-рабы продолжали работать, а потому ему не было никакой выгоды в том, чтобы они умирали с голоду. Таков был его нравственный облик. На самом деле подлинным хозяином гетто был он, а не Румковский, с которым его связывали чисто деловые отношения, в конце концов превратившиеся в своеобразную дружбу. Бибов — маленький шакал, слишком циничный, чтобы принимать всерьез расовую демонологию, хотел как можно дольше оттягивать расформирование гетто, приносившее ему отличные прибыли, и уберечь от депортации Румковского, которого он считал своим сообщником и которому полностью доверял. Часто реалисты способны объективнее разобраться в ситуации, чем теоретики, однако эсэсовские теоретики придерживались другого мнения, к тому же сила была на их стороне. Они рассуждали радикально, *gründlich**: ликвидировать гетто, а с ним и Румковского.

Не имея возможности предотвратить депортацию, Бибов, обладавший обширными связями, вручил Румковскому письмо к коменданту Освенцима и уверил его, что это письмо гарантирует ему защиту и хорошее отношение. Румковский, в свою очередь, попросил и получил у Бибова

* Основательно (*нем.*).

разрешение ехать в лагерь со своими домочадцами в спецвагоне, с удобствами, соответствующими его положению; этот спецвагон был последним в составе товарных вагонов, набитых теми, у кого не было привилегий. Но судьбы всех евреев находились в руках немцев, которым было безразлично — трус перед ними или герой, простой человек или важная птица. Поэтому ни письмо, ни вагон не смогли спасти от газа Хаима Румковского, царя иудейского.

Это не просто одна из многих историй; в ней больше вопросов, чем ответов; она дает представление о том, что такое серая зона, хотя и не позволяет разобраться до конца в ее устройстве. Она вопиет, призывая нас понять, разгадать, как разгадывают сны или небесные знамения.

Кто такой Румковский? Он не чудовище, но и обычным человеком его не назовешь. Если оглядеться вокруг, можно увидеть много людей, похожих на него. Неудачи, предшествовавшие его «карьере», показательны: немногие способны черпать моральные силы в своих неудачах. Мне кажется, в его истории можно в идеальном виде разглядеть действие почти физического закона, по которому политические притеснения порождают двуличие и компромисс в самых различных проявлениях. У основания трона любого абсолютного монарха толпятся такие румковские, стремящиеся ухватить свой кусочек власти. Это повторяющийся спектакль: достаточно вспомнить ожесточенную борьбу в последние месяцы Второй мировой войны в ставке Гитлера, а также в республике Сало между ее министрами; все те же серые люди — скорее слепцы, чем преступники, с каким остервенением они пытались вырвать друг у друга хоть клочок мерзкой и слабеющей власти! Власть как наркотик: и без того, и без другого можно спокойно обходиться, пока не узнаешь, что это такое; но стоит раз попробовать, возможно, ненароком, как это было с Румковским, и возникает зависимость, потребность в увеличении дозы, желание уйти от действительности и вернуться к детским мечтам о своем всесилии. Если считать обоснованной в отношении Румковского версию об отравлении властью, то нужно признать, что отравление это произошло не случайно и даже вопреки условиям гетто; оно оказалось настолько сильным, что смогло подействовать даже в подавляющих, казалось бы, любое проявление индиви-

дуальной воли условиях. Румковский, как и его более знаменитые прообразы, явно страдал синдромом бессрочной и безраздельной власти, на что указывали искаженное видение мира, спесь догматика, потребность в лести, лихорадочное стремление, раз ухватившись за командные рычаги, уже не выпускать их из рук, презрение к законам.

Все это не освобождает Румковского от ответственности. Мысль, что румковских могли взращивать многострадальные гетто, такие как лодзинское, — незаживающая рана на сердце. Если бы этот шут, чей образ наложил свой грязный отпечаток и на само гетто, не закончил жизнь трагически, не разделил судьбу своих подданных и остался жив, ни один трибунал не оправдал бы его, и мы не можем оправдать его в моральном плане. Однако есть и смягчающее вину обстоятельство: это дьявольский порядок, созданный национал-социализмом, чудовищная коррупционная власть, от которой трудно было уберечься; она принижала своих жертв, делала их похожими на себя, превращала в сообщников, крупных и мелких. Чтобы противостоять ей, нужно было иметь очень твердые моральные устои, каковых ни у Хаима Румковского, лодзинского торговца, ни у его поколения не было. А мы? Насколько сильны мы, сегодняшние европейцы? Как бы повел себя каждый из нас, если бы его толкала к сотрудничеству нужда или искушали соблазны?

История Румковского — это прискорбная, тревожная история всех капо и лагерных функционеров; всех ничтожных иерархов, которые, служа режиму, закрывают глаза на его преступления; всех подчиненных, готовых по указанию начальства ставить свою подпись под любым документом, благо подпись ничего не стоит; это история тех, кто в душе осуждает, но на словах соглашается, кто говорит: «Если бы не я, это сделал бы другой, тот, кто еще хуже меня».

Румковский — символическая фигура в этой малопорядочной компании, собирательный образ. Трудно сказать, возглавляет он список или замыкает, это мог бы прояснить только он сам, если бы имел возможность говорить перед нами, пусть даже врать, как, скорее всего, он врал всегда, даже самому себе. Но и своим враньем он помог бы нам лучше понять его, как обвиняемый, сам того не желая, помогает судье своим враньем, потому что актерские способности человека не безграничны.

И все же сказанного недостаточно, чтобы объяснить без дальних слов, какую угрозу таит в себе эта история. Не исключено, что ее значение больше, чем может показаться на первый взгляд; не исключено, что в Румковском отражаемся все мы: его двойственность — это наша двойственность, заложенная в нас изначально, при смешении глины и духа; его болезнь — это наша болезнь, болезнь западной цивилизации, которая «сходит в ад под звуки труб и барабанов»; его жалкая мишура — искаженные образы наших представлений о престиже. Его безумие — это безумие того человека, того «факира на час», которого описывает Изабелла в шекспировской пьесе «Мера за меру»:

Но гордый человек, что облечен
Минутным кратковременным величьем
И так в себе уверен, что не помнит,
Что хрупок, как стекло, — он перед небом
Кривляется, как злая обезьяна,
И так, что плачут ангелы над ним...

Как всех румковских, нас завораживают власть и престиж, заставляя забывать о том, насколько хрупкое создание человек. Мы входим в сговор с властью, добровольно или нет, забывая, что все мы находимся внутри гетто — гетто, окруженного стеной, по ту сторону которой нас ждут повелители смерти. И готовый к отправлению поезд.

III
Стыд

СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, использованный несчетное количество раз, освященный литературой и поэзией, подхваченный кинематографом: ураган прошел, возвращается «покой после бури», и сердца охватывает ликование. «Освобождение от страданий — радость для нас». За болезнью следует выздоровление, томящиеся в неволе дожидаются освободителей под развевающимися знаменами, солдат возвращается с войны к своей семье, к мирной жизни.

Если судить по воспоминаниям многих уцелевших и даже моим собственным, пессимист Леопарди, демонстрируя в своем стихотворении не свойственный ему оптимизм, очень далек от истины. В большинстве случаев освобождение оказывалось и не веселым, и не радостным; чаще всего оно происходило на трагическом фоне разрушений, массовых убийств и страданий. А когда человек снова начинал превращаться в человека, то есть ощущать себя ответственным, к нему возвращались человеческие чувства: боль за пропавших без вести или погибших близких, за вселенские муки, которые он видел вокруг, за свое физическое измождение, казавшееся уже непоправимым, неизлечимым недугом, и мысли о том, что жизнь надо начинать заново, среди

руин, подчас в одиночку. Не «радость — дитя горя», а горе — дитя горя. Освобождение от страданий было либо кратковременной радостью, либо радостью только для редких счастливцев, очень уж простых душ.

Чувство тревоги знакомо каждому с детства, и каждый знает, что часто оно безотчетно, бесцветно. Редко к тревоге приклеена бирка с названием, редко можно определить ее причину; адресная тревога — часто лжетревога. Можно верить и убеждать себя, что тревожишься по какому-то определенному поводу, в то время как причи́на тревоги на самом деле иная; можно верить, что тебя беспокоит будущее, хотя на самом деле тебе не дает покоя твое прошлое; можно верить, что переживаешь за других, сочувствуешь им, сострадаешь, а на самом деле мучиться чем-то личным, осознанным или нет, запрятанным иногда так глубоко, что только специалист, душевный аналитик, способен откопать причину.

Естественно, я не рискну утверждать, что формула «Освобождение от страданий — радость для нас» вообще не верна. Нередко освобождение происходило в обстановке огромной, неподдельной радости. В первую очередь это касается борцов Сопротивления, военных, политиков, радовавшихся в такие минуты, что их надежды оправдались, что борьба, которой они посвятили свои жизни, не была напрасной. Радовались и те, кто мало страдал, страдал короткое время или страдал только за себя, а не за близких родственников, друзей, любимых. К счастью, не все человеческие существа одинаковы: есть среди нас такие, кому дано ощущать мгновения радости, словно отделяя крупицы золота от пустой породы, и наслаждаться этими мгновениями в полной мере. Наконец, среди устных и письменных свидетельств встречаются и подправленные (без злого умысла), в которых «как надо» превалирует над «как было»: «Освобожденный от рабства радуется. Я освободился, значит, я тоже должен радоваться. Во всех фильмах, во всех романах, как в „Фиделио“, разрывание цепей — момент торжественной радости, восторженного ликования, значит, и я должен радоваться и ликовать». Это один из случаев деформации воспоминаний (о чем я пишу в первой главе), когда с годами опыт других, подлинный или мнимый, наслаивается на собственный, искажая его. Те же, кто в силу убеждений или характера чуждаются риторики, обычно го-

ворят совсем по-другому. Например, уже упомянутый мной Филип Мюллер, чей опыт был гораздо страшнее моего, на последней странице своих воспоминаний так описывает освобождение:

Это может показаться невероятным, но я почувствовал полный упадок сил. Мгновение, на котором в течение трех лет были сосредоточены все мои мысли и потаенные надежды, не вызвало во мне ни чувства счастья, ни вообще каких-либо чувств. Я сполз со своих нар и на четвереньках двинулся к двери, добрался до леса, и тут силы оставили меня; я растянулся на земле и уснул.

Приведу теперь отрывок из «Передышки», в котором говорится о первых русских солдатах, появившихся в нашем лагере и увидевших умирающих и горы трупов. Книга была опубликована только в 1963 году, но написаны эти слова в конце 1947-го:

Они не сказали нам ни слова, не улыбнулись в знак приветствия; скорее не сочувствие, а смущенная сдержанность запечатала их губы, приковала их взгляды к зрелищу смерти. Нам было хорошо знакомо это чувство, мы испытывали его после селекций, всякий раз, когда на наших глазах унижали других и когда мы сами подвергались унижению; имя этому чувству было стыд, тот самый стыд, которого не ведали немцы, но который испытывает честный человек за чужую вину, мучаясь, что она существует, что она стала неотъемлемой частью порядка вещей и его добрая воля — ничто или слишком мало, чтобы что-то изменить.

Не думаю, что тут можно что-то вычеркнуть или исправить, а вот некоторые добавления не помешают. То, что многие (и я в том числе) испытывали в заключении и после «стыд», а также чувство вины — неопровержимый факт, подтверждаемый многочисленными свидетельствами. На первый взгляд, это невероятно, но так оно и было. Попробую объяснить это на собственном опыте и подкрепить объяснениями других.

Как я уже говорил, чувство неловкости, которое многие испытали при освобождении, возможно и не было стыдом как таковым, но принималось за него. Почему? На этот вопрос могут быть разные ответы.

Исключим из нашего рассмотрения некоторые особые случаи, например, узников, большей частью политических,

у которых была возможность оказывать помощь своим товарищам по лагерю, защищать их. Мы, основная масса заключенных, о них ничего не знали, даже не подозревали об их существовании, что, впрочем, вполне естественно, поскольку политическая и полицейская необходимость (политотдел Освенцима был ничем иным как структурой гестапо) вынуждала их действовать втайне не только от немцев, но и вообще ото всех. При мне в Освенциме, в этой концентрационной империи, 95% заключенных составляли евреи, и политическая жизнь находилась в зачаточном состоянии. Я стал участником одного эпизода, который должен был бы меня насторожить, заставить кое-что заподозрить, не будь я раздавлен каждодневными мучениями.

Примерно в мае 1944 года нашего почти безобидного капо сменил новый, оказавшийся настоящим злодеем. Все капо били заключенных, это составляло неотъемлемую часть их должностных обязанностей, это был их язык, с которым, хочешь — не хочешь, приходилось мириться, единственный, может быть, язык, понятный в лагерном Вавилоне каждому. Меняя оттенки, он мог выражать принуждение к работе, предостережение, наказание, но на шкале страданий занимал последнее место. Новый же капо бил разнообразно, неожиданно, злорадно, изощренно — по носу, по ногам, по гениталиям. Бил, чтобы сделать больно, чтобы заставить страдать, унизить. И не из слепой антисемитской ненависти, как многие, а с нескрываемым желанием причинить боль подвластному ему существу, зная, что оно не посмеет протестовать. Возможно, он был психически ненормальным, но в тех обстоятельствах, и это понятно, снисхождению, которое сегодня мы проявляем по отношению к подобным больным, не могло быть и места. Я поделился с одним товарищем, коммунистом, хорватским евреем: «Что делать? Как нам защититься от него? Должны ли мы действовать сообща?» Он как-то странно улыбнулся и сказал: «Вот увидишь, долго это продолжаться не будет». Через неделю после этого капо исчез. Много лет спустя, на одной из встреч бывших узников я узнал, что некоторые политические заключенные, работавшие в лагерном отделе труда, имели страшную возможность менять номера заключенных в списках отобранных в газ. Кто хотел и мог участвовать в борьбе с лагерной машиной, тот был защищен от «стыда»

или по крайней мере от той неловкости, о которой я говорил; скорее он испытывал другие чувства. Другие чувства должен был испытывать и Зивадьян — тихий, спокойный человек, которого я мимоходом упомянул в главе «Песнь об Улиссе» своей книги «Человек ли это?» и который, как я узнал на той же встрече бывших узников, проносил на территорию лагеря взрывчатку на случай возможного восстания.

Мне кажется, чувство стыда или вины, охватывавшее человека с обретением свободы, нельзя описать в двух словах: оно включало в себя разные чувства в разных пропорциях, в зависимости от особенностей личности. Каждый из нас пережил лагерь по-своему, объективно ли, субъективно — значения не имеет.

Выйдя на свободу, человек продолжал страдать от перенесенных унижений. Не по своей воле, вине или нерадивости мы месяцами, а кто и годами, жили в нечеловеческих условиях, в постоянном страхе, выбиваясь из последних сил, в голоде и холоде, с отнятой у нас способностью думать, рассуждать, чувствовать. Мы уже привыкли к грязи, к скученности, лишениям и страдали от этого меньше, чем если бы находились в нормальных условиях. Наши нравственные представления изменились, и все мы воровали — на кухне, на стройке, в самом лагере — у «других», у тех, кто был на противоположной стороне, но все равно, воровство есть воровство. Некоторые (таких, правда, было мало) опускались до того, что воровали хлеб у своих товарищей. Мы забыли не только свою родину и свою культуру, но и свои семьи, свое прошлое, свое представление о будущем, потому что, как животные, существовали только в настоящем. Из этого униженного состояния мы выходили лишь на короткие промежутки в редко выпадавшие свободные воскресенья, в считанные мгновенья перед тем, как провалиться в сон, во время массированных бомбардировок, но эти «выходы» были мучительны, потому что позволяли увидеть со стороны и оценить наше унижение.

Думаю, именно неудержимое желание посмотреть назад, заглянуть в «опасную пучину» становилось причиной многих самоубийств после (в некоторых случаях — сразу же после) освобождения. Это происходило, когда депрессия, вызванная воспоминаниями, достигала критической точки. Что же касается самоубийств *в период* заключения, все ла-

герные историки, в том числе советские, сходятся в том, что такие случаи были редки. Этому есть разные объяснения, лично у меня их три, причем одно не исключает другого.

Первое: самоубийство совершают люди, а не животные, это продуманное, а не импульсивное действие, это выбор, хотя и противоестественный. В лагере условий для выбора почти не было, люди жили, как скот, позволяя умерщвлять себя другим, но сами себя не убивали. Второе: как говорится, и так забот хватало. За день надо было найти возможность утолить голод, выдержать непосильные нагрузки, защититься от холода, избежать наказания. Что касается постоянного и неминуемого приближения смерти — времени, чтобы сосредоточиться на мыслях о ней, не оставалось. Вспоминается безжалостная правда Звево, описывающего в «Самопознании Дзено» агонию отца: «Когда человек умирает, ему некогда думать о смерти. Весь его организм был занят теперь одним: дыханием». Третье: в большинстве случаев мысль о самоубийстве рождается из-за чувства вины, которое не может заглушить ни одно наказание; жестокие условия заключения воспринимались как наказание, и чувство вины (если есть наказание, должна быть и вина, причина этого наказания) отступало на второй план, чтобы вновь проявиться после освобождения, хотя зачем наказывать себя самоубийством за вину (истинную или предполагаемую), когда она уже была искуплена ежедневными страданиями?

В чем состояла вина? С окончанием мучений человек все яснее осознавал, что для борьбы с поглотившей его системой он не сделал ничего или сделал слишком мало. Об отсутствии сопротивления в лагере, вернее, в некоторых лагерях, говорили много и с осуждением, причем особенно те, кому и самому было в чем повиниться. Имеющие опыт знают, что в каких-то ситуациях коллективное или личное сопротивление было возможно, но гораздо чаще об этом и речи быть не могло. Известно, что в 1941 году в руках немцев оказались миллионы советских военнопленных. Молодые, сытые, крепкие, прошедшие военную и политическую подготовку, они часто попадали в плен целыми подразделениями во главе со старшинами и офицерами; они ненавидели немцев, которые вторглись в их страну, но даже среди них случаи сопротивления были редки. Недоедание,

лишения и другие физические тяготы — простые и экономически выгодные методы, в использовании которых нацисты были настоящими мастерами, действовали разрушительно, но прежде чем разрушить человека, они его парализовали, особенно если этому предшествовали годы сегрегации, унижений и оскорблений, насильственное переселение, утрата семьи, потеря связи с окружающим миром. В таком положении находилось большинство заключенных, попавших в Освенцим из преддверий ада — гетто и сборных лагерей.

Если рассуждать здраво, чего, собственно, было стыдиться? Но стыд был, особенно перед теми немногими, кто мог и имел мужество бороться. О таких людях я говорил в книге «Человек ли это?», описывая в главе «Последний» публичную казнь участника мятежа: его повесили на глазах покорной, отупевшей толпы заключенных. Мысль, смутно промелькнувшая тогда, возвращается «потом»: и ты мог, и ты должен был... И еще осуждение, которое уцелевший читает (или ему кажется, что читает) в глазах тех, кто слушает его рассказы, особенно в глазах молодых — им сегодня легко судить. Возможно, он находит, что к нему несправедливы, но все равно, осознанно или подсознательно, он ощущает себя обвиняемым, вынужденным оправдываться и защищаться.

Чаще всего самообвинение или обвинение касается отсутствия в лагере солидарности. Мало кто из выживших винит себя за преднамеренное нанесение вреда, за то, что обворовал или избил товарища: кто делал это (в первую очередь капо, но не только), тот не ворошит прошлое. Зато почти всех преследует чувство вины за равнодушие, неоказание помощи. Присутствие рядом с тобой более слабого или более неприспособленного товарища, собрата по заключению старше или моложе, чем ты, короче говоря, того, кто изводит тебя просьбами о помощи или одним только своим видом выражает мольбу, — одна из составляющих лагерной жизни. Потребность в человеческом сочувствии, в добром слове, в совете, просто в том, чтобы тебя выслушали, была постоянной, но она редко удовлетворялась. Не хватало времени, места, возможности уединиться, терпения, сил, вдобавок тот, к кому обращались за помощью, подчас нуждался в ней сам.

Я вспоминаю — и это воспоминание утешает меня, — как однажды, уверенный в ту минуту в собственном мужестве, попытался вдохнуть мужество в восемнадцатилетнего итальянца: новичок в лагере, он, как и все в первые лагерные дни, был в глубоком отчаянии. Я не помню, что ему сказал, но это были слова надежды, возможно, ложь, но «ложь во спасение», которой я, двадцатичетырехлетний «старожил» с трехмесячным стажем, старался поддержать «новенького», уделив ему немного внимания. Есть, правда, и другие, горькие воспоминания: когда за спиной у меня был уже почти годовой лагерный опыт, которым я, казалось бы, мог поделиться, все чаще случалось, что я раздраженно отворачивался от тех, кто ко мне обращался. Потому что крепко усвоил главное лагерное правило — заботиться в первую очередь о самом себе. Никому не удалось сформулировать это правило с такой откровенностью, как это сделала Элла Лингенс-Райнер в своей книге «Пленники страха», правда, вложив эти слова в уста женщины-врача, которая, вопреки своему заявлению, проявляла великодушие и смелость и спасла много жизней:

Как мне удалось выжить в Освенциме? Благодаря принципу: в первую, во вторую и в третью очередь — я. И больше никто. Потом снова я, а потом уже все остальные.

В августе 1944 года в Освенциме стояла невыносимая жара. Знойный тропический ветер поднимал тучи пыли над разрушенными во время воздушных налетов зданиями, высушивал пот, сгущал в венах кровь. Мою бригаду отправили очищать какой-то подвал от обломков, и все умирали от жажды, нового мучения, которое прибавилось, нет, умножилось на старое — голод. Ни в лагере, ни в подвале не было питьевой воды; в те дни воды часто не было и в кранах умывален (пусть ее нельзя было пить, но можно было освежиться и смыть с себя пыль). Обычно для утоления жажды вполне хватало вечернего супа и утреннего эрзац-кофе, который раздавали около десяти утра. Но в такую жару этого не хватало, нас мучила нестерпимая жажда. Власть жажды сильнее власти голода: голод подчиняется эмоциям, иногда отступает, его могут на время заглушить боль, страх, другие чувства (мы это поняли, когда нас везли товарным

поездом из Италии); другое дело — жажда, она не дает передышки. Голод изнуряет, а жажда сводит с ума. В те дни она преследовала нас днем и ночью: днем на стройке, где порядок (враждебный нам, но все-таки порядок, без которого еще недавно трудно было представить это место) превратился в хаос, и ночью в душных бараках, где мы судорожно глотали выдыхаемый сотнями ртов воздух.

Та часть подвала, куда капо направил меня убирать обломки, граничила с обширным помещением, занятым поврежденными химическими установками, которые не успели полностью смонтировать до начала бомбардировок. На стене я заметил вертикальную двухдюймовую трубу, а на ее конце, почти у самого пола, кран. Что было в этой трубе? Вода? Оглянулся — вокруг никого. Я попробовал открыть кран, его заело, но, воспользовавшись камнем вместо молотка, я смог повернуть его на несколько миллиметров. Из крана закапало, я подставил руку: никакого запаха, да, похоже, вода. Собрать ее было не во что; капли падали под собственной тяжестью медленно, значит, труба была наполнена всего наполовину или того меньше. Оставив попытки открыть кран сильнее, я растянулся на земле и подставил под него рот. Нагретая солнцем безвкусная вода, то ли дистиллированная, то ли конденсат, показалась мне изумительной.

Сколько воды может быть в двухдюймовой трубе длиной около двух метров? Литр или даже меньше. Я мог ее выпить всю сразу, это было бы надежней всего, а мог оставить немного на завтра. Или поделить ее поровну с Альберто. Или открыть секрет всей бригаде.

Я выбрал третий, эгоистический вариант (в пользу того, кто был мне ближе), который мой друг из далеких времен называл «своизмом». Мы выпили всю эту воду маленькими скупыми глотками, сменяя друг друга под краном. Только мы двое, тайно — я и Альберто. Возвращаясь в лагерь, я оказался рядом с Даниэле; увидев его, серого от цементной пыли, со спекшимися губами и лихорадочно блестевшими глазами, я почувствовал угрызения совести. Мы с Альберто переглянулись, и каждый прочел во взгляде другого: хорошо, что нас никто не видел. Но оказалось, что это не так: Даниэле заметил, как мы лежали на спине у стены среди обломков, и наши странные позы вызвали у него

подозрение, а потом он обо всем догадался. Мне он сказал об этом с обидой спустя несколько месяцев после освобождения, в Белоруссии: «Почему вы двое пили, а я нет?» Это было возвращение к «гражданскому» моральному кодексу, тому самому, который заставляет меня, свободного сегодня человека, ужасаться смертному приговору избивавшему нас капо, вынесенному и приведенному в исполнение без права на апелляцию, тайно, с помощью обыкновенного ластика. Оправдан ли мой запоздалый стыд? Я не смог понять это тогда, не могу понять и теперь, но стыд был и есть — реальный, постоянный, мучительный. Даниэле уже нет в живых, но пока мы виделись на наших теплых, братских встречах бывших узников, та история с каплями утаенной от него воды, хоть мы больше к этому и не возвращались, разделяла нас незримой стеной, и я бы дорого заплатил, чтобы ее не было.

Смена моральных принципов всегда обходится дорого; это знают все еретики, отступники и диссиденты. На основании сегодняшних моральных принципов нам легче оправдывать наши или чужие поступки, продиктованные моральными принципами, по которым мы жили тогда; и все же мне кажется справедливым охватывающее нас возмущение, когда кто-то «другой» считает себя вправе судить нас, «отступников», или, точнее, вновь обращенных.

Тебе стыдно, что ты живешь вместо другого? Причем более благородного, тонкого, мудрого, нужного? Того, кто больше достоин жить? Ты анализируешь, перебираешь свои воспоминания, следя, чтобы ни одно не ускользнуло, не замаскировалось, не изменило облик. Все как будто в порядке: ты никого не порабощал, никого не бил (а были ли у тебя на это силы?); ты не занимал привилегированных должностей (да тебе никто их и не предлагал); ты не воровал хлеб у товарищей. Впрочем, это могло быть, и предположение, тень сомнения, что каждый — Каин брату своему, что каждый из нас (на этот раз я употребляю «нас» в очень широком, даже вселенском смысле) поработил ближнего своего, а теперь живет вместо него. Пусть это всего лишь предположение, но оно гложет тебя. Как обосновавшийся в невидимой глубине древесный жук, который точит и точит.

Когда я вернулся из заключения, меня пришел навестить один знакомый. Он был старше меня, тихий, фанатич-

но преданный собственной вере, которая мне всегда казалась суровой и слишком серьезной. Он обрадовался, найдя меня живым и невредимым, и сказал даже, что я возмужал, стал крепче и — главное — духовно богаче. И еще он сказал: то, что я выжил, надо считать не случайностью или стечением счастливых обстоятельств (как считал и до сих пор считаю я), а исключительно волей Провидения. Я был отмечен, избран. На меня, неверующего, ставшего бесповоротно неверующим после Освенцима, сошла благодать, я оказался спасенным. Но почему именно я? Этого нельзя знать, сказал он, может, потому, что ты пишешь и несешь свое свидетельство; разве ты не начал в 1946 году писать книгу о своем заключении?

Подобное рассуждение показалось мне кощунственным. Я почувствовал боль, словно мне задели живой нерв, и меня снова охватили сомнения, о которых я только что говорил: я мог остаться в живых вместо другого, за счет другого, порабощенного, фактически убитого. «Спасенные» не были ни лучшими, ни избранными, ни вестниками. То, что видел я своими глазами, свидетельствует об обратном: выживали по большей части худшие, эгоисты, жестокие, бесчувственные, коллаборанты из серой зоны, доносчики. Это нельзя назвать твердым правилом (в мире нет и не было людей твердых правил), и все же это было правило. Я считал себя невиновным, случайно затесавшимся в толпу спасенных, а потому постоянно искал оправдания в собственных глазах и в глазах других. Выживали худшие, те, кто умел приспосабливаться. Лучшие умерли все.

Умер Хаим, часовщик из Кракова, праведный еврей, который, досадуя на языковой барьер, пытался понять меня и объяснить мне, новичку, основополагающие законы выживания в первые, самые трудные лагерные дни; умер Сабо, молчаливый венгерский крестьянин ростом под два метра, а потому всегда более голодный, чем остальные, но находивший в себе силы помогать тем, кто еще слабее; умер Роберт, профессор Сорбонны, который внушал окружающим мужество и уверенность, говорил на пяти языках, напрягал и без того превосходную память, чтобы зафиксировать все происходящее; если бы он остался в живых, то смог бы ответить на те вопросы, на которые не нашел ответа я; и еще умер Барух, портовый грузчик из Ливорно, сразу,

в первый же день, потому что ответил ударом на полученный удар и был за это забит до смерти тремя капо. Эти и другие, коим нет числа, умерли не потому, что были хуже, а потому что были лучше.

Мой религиозный друг сказал мне, что я выжил, чтобы свидетельствовать. И я свидетельствовал в меру своих сил, не мог не свидетельствовать и свидетельствую до сих пор, когда мне предоставляется такая возможность; но мысль о том, что только благодаря своему свидетельствованию я удостоился привилегии выжить и жить в течение многих лет без особых проблем, не дает покоя, потому что привилегия и результат кажутся мне несоизмеримыми.

Повторяю, не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели. К этому неудобному выводу я пришел постепенно, читая воспоминания других и перечитывая свои собственные, от которых меня отделяют годы. Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону, уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми; но это они, *Muselmänner**, доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными. Они — правило; мы — исключение. Под другим небом, другой человек, Солженицын, вернувшийся из похожего и непохожего рабства, также отмечал:

Почти каждый зэк-долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил, — и есть *придурок*. Или был им бо́льшую часть срока. Потому что лагеря — истребительные, этого не надо забывать.

На языке той, другой концентрационной вселенной *придурки* — это заключенные, которые тем или иным способом добились привилегированного положения, те, кто у нас назывался «prominenti»**.

Мы, кого судьба пощадила, пытались рассказать не только про свою участь, но, с большей или меньшей сте-

* Мусульмане; на лагерном жаргоне — люди, дошедшие до крайней степени истощения (*нем.*).

** Важные личности, шишки (*итал.*).

пенью достоверности, про участь тех, канувших; только это были рассказы «от третьего лица», о том, что мы видели рядом, но не испытали сами. Об уничтожении, доведенном до конца, завершенном полностью, не рассказал никто, потому что никто не возвращается, чтобы рассказать о своей смерти. Канувшие, даже если бы у них были бумага и ручка, все равно не оставили бы свидетельств, потому что их смерть началась задолго до того, как они умерли. За недели, месяцы до того, как потухнуть окончательно, они уже потеряли способность замечать, вспоминать, сравнивать, формулировать. Мы говорим за них, вместо них.

Я не могу объяснить, что заставляло и заставляет нас это делать: то ли своего рода моральное обязательство перед теми, кто умолк навсегда, то ли, напротив, желание освободиться от воспоминаний о них; в любом случае, это сильное, настойчивое чувство. Не думаю, что психоаналитики (с профессиональной жадностью бросившиеся распутывать наши импульсы) способны объяснить это чувство. Их знания накапливались и проверялись «по другую сторону», в мире, который мы для простоты называем «цивилизованным», где все отклонения рассматриваются в рамках одной методологии и лечатся по одной схеме. Объяснения психоаналитиков, даже таких, как, например, Бруно Беттельхайм, который сам прошел испытание лагерем, кажутся мне приблизительными и упрощенными; их можно сравнить с попыткой использования планиметрических теорем при изучении сферических треугольников. Умственные механизмы хефтлингов* были иными, чем у людей «цивилизованного мира»; возможно, это покажется странным, но их философия и патология тоже были иными. В лагере никто не простужался и не болел гриппом, зато иногда скоропостижно умирал от таких болезней, которые никогда не изучались на медицинских факультетах. В лагере излечивались (или меняли симптоматику) язвы желудка и умственные расстройства, но все страдали от неотступного недуга, лишавшего сна и не имевшего названия. Считать его «неврозом» недостаточно, даже просто смешно. Может быть, точнее было бы назвать его атавистической тоской, которой пронизан второй стих Книги Бытия; это сидевшая

* Заключенный (*нем.*).

в каждом тоска «тоху вавоху»*, тоска пустынной, необитаемой вселенной, подвластной духу Божьему, но где нет человека: он или еще не родился, или уже умер.

Существует стыд и в более широком смысле, стыд мировой. Здесь уместно привести знаменитые и бесчисленное количество раз, к месту и не к месту, повторенные слова Джона Донна о том, что «нет человека, который был бы как остров», — похоронный колокол звонит по каждому из нас. Тем не менее человек подчас отворачивается от чужой и своей вины, не хочет ее замечать, устраняется; так поступала бо́льшая часть немцев в течение двенадцати лет гитлеровского правления, обманывая себя, будто тот, кто не видит, тот не знает, а кто не знает, с того и спросу нет, того не обвинишь в попустительстве. Но щит добровольного неведения, *partial shelter*** Т.С. Элиота был не для нас, мы не могли не видеть. Море страданий, прошлых и настоящих, окружало нас, с каждым годом прибывая и прибывая, готовое поглотить и нас. Бесполезно было закрывать глаза или отворачиваться, потому что оно было везде, со всех сторон, до самого горизонта. Мы не могли и не хотели быть островами; самые праведные из нас, — а таких было не меньше и не больше, чем в любом человеческом сообществе, — испытывали муки совести, боль, стыд за вину, которая лежала на других, не на них, но к которой они считали себя причастными, поскольку понимали: происходящее вокруг них, при них и в них — неотвратимо. Его никогда уже не смыть, оно доказывает, что человеческий род, человек, а значит, и мы потенциально способны создавать неисчислимое количество горя, и это горе — единственная сила, которая вырастает из ничего, сама по себе, без усилий. Достаточно лишь не видеть, не слышать, не делать.

Часто спрашивают, как будто наше прошлое сделало нас пророками, повторится ли Освенцим, то есть заработает ли снова машина смерти, начнутся ли по воле каких-то властей систематические массовые убийства невинных и беззащитных людей, узаконенные доктриной презрения. Мы, слава богу, не пророки, но нам есть, что сказать. И о по-

* Вселенная в состоянии хаоса (*древнеевр.*).
** Хрупкий кров (*англ.*).

хожей, почти не замеченной на Западе трагедии, которая произошла в середине 70-х в Камбодже. И о том, что немецкие массовые убийства смогли вспыхнуть и разгореться из-за неудержимого стремления к порабощению, из-за душевной нищеты и в силу соединения нескольких обязательных фактов, каждого из которых в отдельности было бы недостаточно (состояние войны, технические достижения, германская организованность, воля и дьявольская харизма Гитлера, отсутствие в Германии укоренившейся демократии). Эти факты могут снова повториться и уже повторялись в разных частях мира, но точное повторение тех же фактов в той же комбинации через десять или двадцать лет (о более далеком будущем говорить нет смысла) маловероятно, но не невозможно. С моей точки зрения, массовые убийства не могут повториться ни в западных странах, ни в Японии, ни даже в Советском Союзе: лагеря Второй мировой войны еще живы в памяти многих, как простых людей, так и власть имущих, а это своего рода иммунная защита, что во многом сродни стыду, о котором я говорю.

О том, что может произойти в других частях мира или здесь позже, лучше пока поостеречься судить; ядерный апокалипсис, спровоцированный двумя сторонами, скорее всего, молниеносный и окончательный, — вот новая, непривычная, совсем другая угроза, гораздо более страшная, но она выходит за рамки выбранной мною темы.

IV
Коммуникация

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН «некоммуникабельность», столь популярный в 70-е годы, мне никогда не нравился, во-первых, из-за своей громоздкости, а во-вторых, по чисто личным соображениям.

В сегодняшнем нормальном мире, который мы условно и по контрасту называем «цивилизованным» и «свободным», редко случается натолкнуться на непреодолимый языковой барьер, иными словами, редко бывает, чтобы наше настойчивое стремление установить контакт с человеческим существом в опасную для жизни минуту не увенчалось успехом. Эпизод из знаменитого фильма Антониони «Красная пустыня», в котором главная героиня встречает ночью турецкого моряка, не знающего ни единого слова ни на одном языке, кроме родного, и тщетно пытается с ним объясниться, не может служить убедительным примером, поскольку стремление к взаимопониманию есть у обоих, иначе говоря, ни один из них не пытается уклониться от общения.

Согласно модной в те годы теории, раздражающей меня своей легковесностью, некоммуникабельность — неотъемлемое свойство, пожизненный приговор, которого нельзя избежать в условиях человеческого, особенно индустриаль-

ного общества. Мы — монады, не способные обмениваться взаимными посланиями или способные лишь на убогие послания, когда отправитель к тому же еще и лжет, а получатель этого не видит. Речь — обман, всего лишь шум, расцвеченный покров, скрывающий экзистенциальную тишину. Да, к сожалению, мы одиноки, даже если (или особенно если) состоим в браке. Тем не менее все эти сетования, на мой взгляд, порождаются умственной ленью и, в свою очередь, ее поощряют — создается опасный порочный круг. Если не брать во внимание патологические случаи некоммуникабельности, общение возможно и необходимо; это простой и надежный путь к созданию мирных отношений с другими, потому что тишина, отсутствие сигналов — тоже своего рода сигнал, но сигнал двусмысленный, который тревожит и рождает подозрения. Отрицать возможность общения неверно, общение возможно всегда. Уклонение от общения — грех; способность к коммуникации, в первую очередь с помощью самой высокоразвитой и благородной ее формы — языка, — физиологический и социальный отличительный признак человека: все человеческие расы умеют говорить, ни один вид животного (не-человеческого) мира говорить не умеет.

Если продолжить разговор о коммуникации, вернее сказать, о ее отсутствии, у нас, выживших, свой, особый опыт. Взять, например, нашу дурную привычку набрасываться на людей (даже на детей!), когда те начинают жаловаться на холод, голод или усталость. Да что вы об этом знаете? Вам бы испытать то, что испытали мы! Чтобы не казаться невоспитанными и никого не обижать, мы обычно стараемся не поддаваться искушению и не отвечать в духе *miles gloriosus**, но должен признаться: когда я слышу разговоры о невозможности коммуникации или о ее отсутствии, мне это не удается. «Вам бы испытать то, что испытали мы!». Разве это сравнимо с трудностями туриста, который приезжает в Финляндию или Японию, где говорят на непонятных языках, но по отношению к нему все (искренне или по привычке) вежливы, доброжелательны, пытаются понять и помочь; да к тому же, кто в наше время в любом уголке земного шара не лепечет хоть немного по-английски?

* Хвастливый воин (*лат.*).

И вопросы у туристов всегда одни и те же, поэтому трудности в общении возникают редко и *почти-не-понимание* может стать даже увлекательной игрой.

Куда трагичнее судьба итальянского эмигранта в Америке сто лет назад и сегодняшнего турка, марокканца или пакистанца в Германии или Швеции. Здесь уже речь не о скупых и предсказуемых сведениях из опробированного запаса туристических агентств; здесь переезд на новое, возможно, постоянное место жительства; освоение работы, которая в наше время вряд ли может быть простой и для выполнения которой понимание слова, произнесенного или написанного, необходимо, как необходимо создание добрых отношений с соседями по дому, продавцами, коллегами, начальством, общение с чужими людьми на улице, в магазине, в баре, привыкание к чужим обычаям, часто, на первый взгляд, неприемлемым. Но выход находится всегда, и умно поступает то капиталистическое общество, которому удается понять, что его интересы напрямую связаны с интеграцией гастарбайтера, производительностью его труда и его благополучием. Оно разрешает ему привезти семью, частицу своей родины, находит ему жилище, плохое или хорошее, позволяет (а иногда и обязывает) посещать языковые курсы. Сошедший с поезда глухонемой получает помощь, возможно, без особой симпатии, но действенную, так что вскоре обретает дар речи.

Некоммуникабельность, которую пережили мы, имела более радикальные формы. Мне хорошо известно это на примере депортированных итальянцев, югославов и греков, многочисленных венгров, попавших в лагерь из деревень, в меньшей степени — французов, среди которых было немало выходцев из Польши и Германии, а также из Эльзаса, где прекрасно понимают и говорят по-немецки. Для нас, итальянцев, проблема языкового барьера возникла еще в Италии, до депортации, в феврале 1944 года, когда эсэсовцы заставили итальянскую службу общественной безопасности передать им управление сортировочным лагерем в Фоссоли под Моденой. Мы сразу, после первых же контактов с высокомерными людьми в черной форме, поняли: знание или незнание немецкого языка — это водораздел. С теми, кто понимал и членораздельно отвечал, устанавливались отношения, напоминающие человеческие,

приказы отдавались им спокойным тоном; с теми же, кто не понимал ни одного слова, люди в черном обращались ужасно: те же приказы они повторяли им громкими, злыми голосами, орали во все горло, словно имели дело с глухими людьми, а точнее, с домашними животными, скорее реагирующими на тон сказанного, чем на смысл.

Если кто-то вдруг замешкался (такое случалось часто, потому что люди не понимали и были запуганы), на него сыпались удары и становилось понятно, что это вариант все того же языка: использование слов для выражения мысли, механизм, без которого нельзя обойтись, пока человек остается человеком, вышел из употребления, а это значит, что с нами, другими, уже переставшими быть людьми, следует, как с коровами или мулами, общаться на другом языке, в котором нет существенной разницы между окриком и тумаком. Для того чтобы лошадь бежала или останавливалась, поворачивала в нужную сторону или тащила телегу, нет необходимости давать ей подробные объяснения, достаточно дюжины однозначных приказов — голосовых, осязательных или зрительных. Натянуть поводья, пришпорить, прикрикнуть, взмахнуть рукой, щелкнуть кнутом, причмокнуть губами, шлепнуть по крупу — вот словарь, которым пользуются при общении с лошадью. Разговаривать с ней так же глупо, как с самим собой, или просто смешно: что она поймет? В своей книге «Маутхаузен» Марсалек рассказывает, что в этом лагере, еще более многоязычном, чем Освенцим, резиновая дубинка называлась *der Dolmetscher*, «переводчик», потому что ее понимали все.

Человек некультурный (а гитлеровцы, и особенно эсэсовцы, были чудовищно некультурны, потому что никто их «не окультуривал», а если им что и прививали, то только плохое) не способен определить разницу между тем, кто не понимает его языка, и тем, кто вообще ничего не понимает. Молодым нацистам вбивали в голову, что на свете существует всего одна цивилизация, немецкая, с остальными же, прошлыми и настоящими, можно смириться лишь в случае, если они несут в себе германские элементы. Вот почему, кто не понимал и не говорил по-немецки, считался варваром по определению, и, если он упорно продолжал объясняться на своем языке, точнее, *не-языке*, нужно было побоями заставить его замолчать, криком и понуканием напомнить ему,

где его место, — ибо он не *Mensch**, не человеческое существо. Мне вспоминается один характерный эпизод. На стройке молодой капо, только что назначенный в состоящую главным образом из итальянцев, французов и греков команду, не заметил, как сзади к нему подошел один из самых свирепых эсэсовских надсмотрщиков. Обернувшись, он растерялся, потом встал по стойке смирно и доложил: «Восемьдесят третья команда, сорок два человека». От волнения он именно так и сказал: «zweiundvierzig Mann» («сорок два человека»). Эсэсовец поправил его с отеческой строгостью: так не говорят, нужно сказать «zweiundvierzig Häftlinge» («сорок два заключенных»). Он простил оплошность неопытному капо, но впредь тому следовало четче выполнять свою работу и не забывать, кто есть кто.

Положение «когда-с-тобой-не-разговаривают» быстро вело к гибели. Тому, кто с тобой не разговаривал, а орал что-то нечленораздельное, ты не осмеливался ответить. Хорошо, если на твое счастье рядом оказывался соплеменник и ты мог обменяться с ним своими впечатлениями, посоветоваться, излить душу, но если вокруг не было никого, кто понял бы тебя, твой язык за несколько дней присыхал к гортани, а скоро пересыхали и мысли.

Таким образом, если с самого начала тебе непонятны приказы и запреты, предписания и распоряжения, среди которых могут быть бессмысленные, ненужные, но могут быть и важные, ты чувствуешь себя в пустоте и с отчаянием осознаешь, что без информации, которую можно получить только путем общения, тебе не выжить. Бóльшая часть узников, не знавших немецкого, в частности, почти все итальянцы, умерли в первые же десять-пятнадцать дней после прибытия в лагерь. Причиной смерти можно считать голод, холод, переутомление, болезни, но если смотреть глубже, все они умерли от недостатка информации. Если бы они имели возможность поговорить со старожилами, те научили бы их находить себе одежду и обувь, добывать дополнительное пропитание, уклоняться от очень тяжелой работы, избегать подчас опасных для жизни встреч с эсэсовцами, не делать непоправимых ошибок, стараться справиться с неизбежными болезнями. Я не утверждаю, что они не умерли

* Человек (*нем.*).

бы вообще, но они прожили бы дольше и имели бы больше шансов вернуться на родину.

В памяти каждого выжившего (из тех, кто не знал или плохо знал другие языки) первые лагерные дни запечатлелись в виде смазанных, быстро мелькающих кадров, на которых бессмысленную суматоху сопровождают невнятные крики, и толпы растерянных существ без имен и лиц тонут в этом оглушительном шуме, откуда человеческие голоса не всплывают. Это черно-белые кадры звукового, но бессловесного фильма.

Я обратил внимание на одно любопытное явление, имеющее отношение к этой пустоте и к потребности в коммуникации: даже через сорок лет я и другие выжившие все еще помним на слух слова и фразы, звучавшие тогда вокруг нас на языках, которых мы не понимали и не научились понимать; для меня такими языками были польский и венгерский. До сих пор помню, как в одном бараке звучал по-польски номер — нет, не мой, а того заключенного, что значился в списке передо мной: длинная путаница звуков с мелодичным разрешением в конце, как произносимые скороговоркой детские считалки, что-то вроде «чтерджещи чтери» (сегодня я знаю, что эти слова означают «сорок четыре»). В том бараке и разливальщик супа, и большинство заключенных были поляки, поэтому польский служил там официальным языком. Когда выкрикивали наши номера, следовало стоять наготове с протянутой миской, поэтому, чтобы не прозевать свою очередь, надо было не пропустить, когда назовут номер того, кто стоит непосредственно перед тобой. Это «чтерджещи чтери», как колокольчик у собак Павлова, вызывало у меня условный рефлекс — немедленное слюноотделение.

Чужие слова записались в нашей памяти как на чистой, пустой магнитофонной ленте; так голодный желудок быстро усваивает даже неудобоваримую пищу. Мы запоминали эти слова не благодаря их смыслу (для нас они не имели смысла), тем не менее, когда спустя много лет мы повторяли их тем, кто мог их понять, оказывалось, что они обозначают самые простые, обычные вещи: угрозы, проклятья, расхожие фразы типа «который час», «я не могу идти», «оставь меня в покое». Это были разрозненные осколки среди непонятного, плод бесполезного и бессознательного усилия

выделить смысл из бессмысленного, заглушить голод ума по примеру физиологического голода, заставлявшего нас ради насыщения шарить вокруг кухни в поисках картофельных очистков, которые все же лучше, чем ничего. Изголодавшийся мозг тоже мучается, только на свой лад. Возможно, впрочем, это бесполезное парадоксальное запоминание имело иное значение и иную цель, было бессознательной подготовкой к *потом*, к не изведанному никем и никогда выживанию, когда каждый отдельный опыт мог стать недостающим фрагментом большого мозаичного панно.

В начале «Передышки» я рассказал из ряда вон выходящий случай об отсутствии коммуникации и о жизненной потребности в ней — о трехлетнем ребенке по имени Хурбинек, скорее всего тайно рожденном в лагере, которого никто не научил говорить, но который настойчиво выражал потребность в этом всем своим бедным тельцем. Так что и в этом отношении лагерь оказался жестокой лабораторией, где мы оказались в условиях, каких не встречали нигде ни раньше, ни после.

За несколько лет до лагеря, еще будучи студентом, я выучил небольшое количество немецких слов, чтобы иметь возможность разбираться в текстах по химии и физике, а вовсе не для того, чтобы выражать свои мысли на этом языке или понимать немецкую речь со слуха. Это были годы, когда уже вступили в силу фашистские расовые законы, поэтому встретиться с немцем в Италии или самому поехать в Германию было для меня маловероятно. Брошенный в лагерь, я, несмотря на растерянность первых дней (а может, как раз благодаря ей) довольно быстро понял, что мой скудный *Wortschatz** — путь к выживанию. Дословно «Wortschatz» переводится как «словесное сокровище», и я не знаю перевода, который более точно выражал бы смысл этого понятия. Знание немецкого означало жизнь; чтобы в этом убедиться, достаточно было оглядеться по сторонам: мои товарищи итальянцы, не понимавшие ни слова по-немецки (исключение составляли немногочисленные триестинцы), тонули один за другим в бурном море непонимания. Не реагируя на

* Словарный запас (*нем.*).

команды, смысл которых до них не доходил, они получали тумаки и пощечины, не понимая при этом, за что. Согласно рудиментарной лагерной этике любой удар должен был иметь хоть мало-мальское обоснование; так легче усвоить тройственное правило: «нарушил — получил — осознал». Недаром поэтому капо и их подручные часто сопровождали удары рявканьем: «Понял, за что?» Непонимание в глазах наказанного требовало краткого «разъяснения проступка», но тратить время на вновь прибывших глухонемых было неоправданной роскошью. Они инстинктивно забивались в угол, чтобы защититься хотя бы со спины: нападения можно было ждать с любой стороны. Они затравленно глядели по сторонам, как животные, попавшие в западню, а некоторые и в самом деле превращались в животных.

Многим моим соотечественникам жизнь спасала товарищеская помощь французов и испанцев, чьи языки не были такими чужим для итальянца, как немецкий. В Освенциме испанцев не было, зато французов (точнее, депортированных из Франции и Бельгии) было множество, в 1944 году — около 10% всех заключенных. Часть попала в лагерь из Эльзаса, много было немецких и польских евреев, бежавших в 30-е годы во Францию в надежде найти убежище, но оказавшихся в мышеловке. Все они — кто лучше, кто хуже — знали немецкий и идиш. Коренные жители Франции — рабочие, буржуазия, интеллигенция — прошли за год или за два до нас примерно такой же естественный отбор, как мы в 1944-м. Те, кто ничего не понимал, быстро сошли со сцены; оставшиеся, все почти *метеки**, которых Франция в свое время приняла очень плохо, получили возможность невеселого реванша. Они и стали нашими переводчиками: переводили нам приказы, распоряжения, вопросы («у кого рваная обувь?»), команды («встать», «все по местам», «в очередь за хлебом», «по трое», «пятерками» и т.д.).

Конечно, этого было недостаточно. Я упросил одного эльзасца провести со мной в частном порядке ускоренный курс немецкого языка, раздробив его на уроки вполголоса между отбоем и сном. За уроки я обещал платить хлебом, другой денежной единицы не существовало. Он согласился, и, должен сказать, никогда еще ни один труд не был так

* Чужеземцы (*древнегреч.*).

достоин вознаграждения, как этот. Он объяснил мне, что означают выкрики капо и эсэсовцев, перевел пошлые остроты, написанные готическими буквами на балках барака, растолковал, что означают цвета треугольников над номерами на наших куртках. Благодаря ему я понял, что краткий, рычащий, изобилующий непристойностями и богохульствами лагерный немецкий имеет слабое отношение как к точному и строгому языку химических статей, так и к утонченному музыкальному языку Гейне, чьи стихи читала мне наизусть Клара, моя сокурсница.

Не сразу, а лишь гораздо позже я осознал, что лагерный немецкий был самостоятельным языком, связанным с местом и временем (*orts- und zeitgebunden*, говоря по-немецки), сильно варваризованной разновидностью того языка, который немецкий филолог еврейского происхождения Клемперер окрестил языком Третьей империи (по латыни «Lingua Tertii Imperii»), то есть Третьего рейха, и даже шутки ради предложил использовать вместо полного термина аббревиатуру LTI по аналогии с многочисленными аббревиатурами (NSDAP, SS, SA, SD, KZ, WVHA, RSHA, BDM), столь популярными в нацистской Германии.

Об LTI, как и о его итальянском собрате, много написано, в том числе и лингвистами. Неоспоримый факт: там, где совершается насилие над человеком, совершается насилие и над языком. Еще не стерлись в памяти идиотские кампании фашистской Италии по борьбе с диалектами и диалектальными топонимами (в первую очередь северных областей), с «варваризмами», с вежливой формой «Lei», якобы подчеркивающей неравенство, а потому чуждой фашистскому духу.

Иначе обстояли дела в Германии. На протяжении многих веков немецкий язык демонстрировал стойкое отвращение к словам негерманского происхождения; достаточно сказать, что немецкие ученые переименовали пневмонию в воспаление легких, а дуоденит — в воспаление двенадцатиперстной кишки, так что на долю нацизма, стремящегося очистить все, в том числе язык, осталось не так уж много. LTI отличался от языка Гете прежде всего семантическими смещениями и терминологической перенасыщенностью: так, например, прилагательное «völkisch» («народный, национальный») превратилось в вездесущее, обремененное

националистическим высокомерием слово, а прилагательное «fanatisch» изменило свою негативную коннотацию на позитивную. Что касается архипелага немецких лагерей, там возник свой специфический язык, лагерный жаргон, родственный языку прусской казармы и эсэсовскому новоязу, но имеющий в каждом лагере свои индивидуальные отличия. Ничего удивительного, что в советских трудовых лагерях также существовал жаргон, многие слова и выражения которого приводит Солженицын. Каждое из них сопоставимо со словами и выражениями, обозначающими те же понятия в немецком лагерном жаргоне, поэтому перевод «Архипелага ГУЛАГ» не должен был представлять особых трудностей, во всяком случае, с терминологической точки зрения.

Общим для всех лагерей был термин «Muselmann» («мусульманин»), которым называли окончательно ослабевшего, обреченного на смерть заключенного. Существуют два объяснения этого термина, причем оба не слишком убедительные: фатализм и намотанное на голову тряпье, напоминающее тюрбан. Этому определению полностью соответствует столь же безжалостно-ироничный русский термин «доходяга» («дошедший до конца, конченный»). В лагере Равенсбрюк, единственном женском лагере, то же понятие, как мне говорила Лидия Рольфи, передавалось двумя схожими по звучанию и противоположными по смыслу словами: «Schmutzstück» («кусок дерьма») и «Schmuckstück» («драгоценность»). Почти что омофоны, но пародирующие друг друга. Итальянки не чувствовали разницы в произношении этих слов и произносили их одинаково — «змистиг». Общим для всех лагерных поджаргонов был и термин «Prominent», применяемый к тем, кто добился привилегированного положения. О таких привилегированных я подробно рассказал в книге «Человек ли это?». Обязательная составляющая лагерной структуры, привилегированные заключенные существовали и в советских лагерях, где (я упомянул об этом в третьей главе) их называли «придурками».

В Освенциме «есть» обозначалось словом *fressen*, которое в литературном немецком употребляется исключительно по отношению к животным. Выражение «hau' ab» (единственное число глагола *abhauen* в повелительном наклонении)

соответствует выражениям «иди к черту», «отстань», «отвяжись», хотя исконное значение этого глагола в настоящем немецком — «отсекать», «срубать». Вскоре после войны со мной произошел казус. Желая попрощаться после деловых переговоров с благовоспитанными представителями фирмы Bayer, я безо всякой задней мысли сказал: «Jetzt hauen wir ab». Получилось, что я сказал: «А теперь убираемся отсюда к черту». Немцы вытаращили глаза, потому что стилистически фраза резко отличалась от предыдущего разговора и явно не относилась к рекомендованным на курсах иностранных языков. Я объяснил коллегам (вызвав всеобщее замешательство), что немецкий учил не в школе, а в лагере, который назывался Освенцим. Но поскольку я выступал в роли покупателя, они продолжали держаться со мной почтительно. Позже я обратил внимание, что и произношение у меня грубое, но я не собирался его смягчать, как не собирался сводить лагерный номер, вытатуированный на левой руке.

Естественно, на лагерный жаргон сильное влияние оказывали языки, на которых говорили заключенные и местное окружение. В Освенциме это были польский, идиш, позднее — венгерский, а также силезский диалект. Из нечленораздельного ора первых лагерных дней всплывают пять-шесть выражений явно не на немецком языке, которые, как мне тогда казалось, должны иметь отношение к основополагающим вещам и понятиям, таким как работа, вода, хлеб. Они врезались в память, записались необъяснимым механическим образом (я уже говорил об этом), и только спустя много лет я вынудил одного своего польского друга перевести мне эти таинственные выражения. Оказалось, они означают холеру, собачью кровь, гром и сукина сына; три первых употребляются в качестве междометий.

Идиш фактически был вторым языком общения в лагере (позднее его вытеснил венгерский). Я не только не понимал его, но до лагеря вообще имел очень смутное представление о его существовании; оно складывалось из нескольких историй и фраз, слышанных мной от отца, который в свое время несколько лет проработал в Венгрии. Польские, русские, венгерские евреи удивлялись, что мы, итальянцы, не знаем идиша: такой еврей не мог не вызывать подозрения, даже недоверия, тем более что эсэсовцы называли нас «бадоглио»,

а французы, греки и политические — «муссолини», так что, не говоря даже о проблемах коммуникации, итальянскому еврею в лагере приходилось не сладко. После заслуженного успеха книг братьев Зингер и многих других писателей выяснилось, что идиш — древний диалект немецкого языка, отличающийся от современного немецкого как лексически, так и характером произношения. С идишем у меня было больше мучений, чем с польским: я совсем его не понимал, хотя, казалось бы, должен был понимать. Слушая с напряженным вниманием, я часто не мог разобрать, на каком языке обращаются ко мне или говорят вокруг — на идише, немецком или смеси того и другого. Некоторые польские евреи, настроенные доброжелательно, пытались «онемечить» свой идиш, чтобы мне легче было их понимать.

Редкий пример влияния идиша на немецкий есть в моей книге «Человек ли это?». В главе «Краус» я привожу слова французского еврея польского происхождения Гунана, обращенные к венгру Краусу: «Langsam, du, blöder Einer, langsam, verstanden?». Если перевести это дословно, получится: «Медленно, ты, дурной один, медленно, понятно?» Звучала фраза немного странно, но я был уверен, что именно так она была произнесена тогда, тем более что записал я ее по свежей памяти, в 1946 году. Немецкого переводчика мне убедить не удалось: я, мол, или ослышался, или не так запомнил. После долгой эпистолярной дискуссии он убедил меня исправить текст, казавшийся ему неприемлемым. В результате в опубликованном немецком переводе фраза звучит так: «Langsam, du, blöder Heini, langsam, verstanden?» (Хайни — уменьшительное от Хайнрих, Генрих). Но позднее в прекрасной книге об истории и структуре идиша (*J. Geipel*. Mame Loshen. London: Journeyman, 1982) я обнаружил типичную для этого языка форму «Khamòyer du eyner!» («Осел ты, один!»). Значит, моя механическая память меня не подвела.

От отсутствия и недостатка коммуникации не все страдали в равной мере. Некоторые, одиночки по натуре или привыкшие к одиночеству еще в прежней, «гражданской» жизни, казалось, не страдали от изолированности, и это безразличие к своей обособленности, равнодушие, отношение к исчезновению слова как к должному было фатальным

симптомом, свидетельствующим о приближении окончательной апатии. Бóльшая часть заключенных, прошедших критическую фазу посвящения, пытались обезопасить себя, каждый по-своему: одни собирали информацию по крохам, другие распространяли ее сами, без разбора пересказывая новости — хорошие и плохие, правдивые и ложные, а то и просто придуманные; у третьих всегда были «ушки на макушке», чтобы уловить и объяснить любой знак, посланный с земли или с неба. К недостатку коммуникации внутри лагеря добавлялся недостаток коммуникации с внешним миром. В некоторых лагерях изоляция была полнейшая. Мой лагерь Моновитц-Освенцим можно было считать в этом плане привилегированным: почти каждую неделю он пополнялся «свежими» заключенными со всех концов оккупированной Европы; новички привозили последние новости, часто рассказывали то, чему сами были непосредственными свидетелями. Игнорируя запреты, не думая о грозящей нам опасности, если кто-нибудь донесет в гестапо, мы в рабочее время разговаривали с польскими и немецкими вольнонаемными, иногда даже с английскими военнопленными, доставали из мусорных баков газеты (не больше чем недельной давности) и жадно читали их от корки до корки. Один мой находчивый лагерный товарищ, журналист по профессии, двуязычный, как все эльзасцы, хвастался, что подписан на Völkischer Beobachter, самую авторитетную в то время ежедневную немецкую газету. Каким образом? А очень простым! Попросил одного надежного немецкого рабочего подписаться на свое имя, оплатив подписку золотой коронкой из собственного рта. Каждое утро во время долгого ожидания переклички на *Appelplatz** он собирал нас в кружок и сообщал нам последние новости.

7 июня 1944 года мы увидели английских военнопленных, направлявшихся на работу. Что-то в них изменилось: подтянутые, грудь вперед, веселые и смеющиеся, они шли в ногу бодрым размашистым шагом, и охранник, уже немолодой немец, начал заметно от них отставать. Они приветствовали нас победной буквой «V» из разведенных в стороны указательного и среднего пальцев, а на следующее утро мы узнали, что из своих тайных источников они получили

* Площадь для переклички (*нем.*).

сведения о высадке союзников в Нормандии. И для нас это было великой радостью, казалось, до свободы уже рукой подать. Однако в большинстве лагерей дела обстояли намного хуже. Вновь прибывшие депортировались из других лагерей или из гетто, в свою очередь также отрезанных от внешнего мира, и могли рассказать лишь о тех чудовищных делах, что творились у них и с ними. Они не работали, как мы, бок о бок с вольнонаемными из десяти-двенадцати разных стран, а трудились на сельскохозяйственных работах, в небольших мастерских, каменоломнях, песчаных карьерах, а также в шахтах, где смерть косила их так же, как рабов в Древнем Риме или индейцев, закабаленных испанскими конкистадорами; во всяком случае никто оттуда не вернулся, чтобы свидетельствовать. Новости «из мира», как принято было говорить, доходили до них нечасто, да и верить им было трудно. Люди чувствовали себя всеми забытыми, словно их бросили умирать в средневековые *oubliettes**.

Евреям, врагам по определению, нечистым, распространяющим нечистоту вокруг и разрушающим устои, была запрещена самая ценная связь — связь с родиной и близкими. Кто не понаслышке знает, что такое изгнание в любом из многих возможных вариантов, тому не надо объяснять, как мучительна потеря этой связи. Она вызывает смертельную тоску, несправедливое чувство обиды за то, что ты оказался брошенным. Почему они не пишут? Почему не хотят помочь? Ведь они на свободе! В те годы нам представился случай убедиться в том, что на большом континенте свободы свобода коммуникации занимает обширную территорию. Это как здоровье, истинную ценность которого понимаешь, только потеряв его. Но отсутствие свободы коммуникации — проблема не только отдельного индивида; на тех пространствах или в те времена, когда свобода коммуникации парализована, быстро увядают и все другие виды свободы, их убивает отсутствие дискуссий, неприятие различных мнений и диктат одного, общего для всех мировоззрения. Известный тому пример — безумная генетика, насаждавшаяся в СССР «академиком» Лысенко, который при отсутствии свободного обмена мнениями (его оппо-

* Подземелья, каменные мешки (*фр.*).

ненты были отправлены в Сибирь) в течение двадцати лет наносил вред сельскому хозяйству. Нетерпимость порождает цензуру, цензура порождает игнорирование чужого мнения, а следовательно, и нетерпимость; создается порочный круг, из которого трудно вырваться.

Политические заключенные получали вести из дома каждую неделю, и для нас это был самый скорбный момент, ведь он безжалостно напоминал нам о том, что мы — другие, отверженные, оторванные от родных мест да и от всего рода человеческого. Отчаяние охватывало нас, вытатуированный номер жег руку, мы не сомневались, что никогда уже не вернемся домой. Впрочем, если бы нам даже и разрешили написать по одному письму, куда бы мы его послали? Семьи европейских евреев сгинули, потеряли друг друга, рассеялись.

Мне (я рассказал об этом в книге «Лилит») несказанно повезло: я смог обменяться несколькими письмами со своей семьей. За эту возможность я благодарен двум совершенно разным людям — пожилому малограмотному каменщику и молодой добросердечной женщине по имени Бьянка Гвидетти Серра (теперь она известный адвокат). Уверен, в том, что я выжил, большая заслуга их обоих, но, как я уже говорил, каждый выживший и вернувшийся из лагеря — скорее исключение, чем правило; хотя мы сами, надеясь освободиться от преследующего нас прошлого, стараемся забыть о нем.

V
Бесполезная жестокость

НАЗВАНИЕ ЭТОЙ ГЛАВЫ может показаться провокационным, более того, оскорбительным: разве существует полезная жестокость? К сожалению, существует. Смерть, даже естественная, милосердная, — все равно жестокость, но, как ни горько это признавать, жестокость полезная: жить в мире бессмертных (свифтовских струльдбругов) немыслимо, невозможно; такой мир был бы еще бесчеловечнее нашего сегодняшнего, сверх всякой меры бесчеловечного мира. Нельзя также назвать бесполезной жестокостью и убийство: Раскольников, убивая старуху-процентщицу, преследовал определенную, хотя и преступную цель, так же как и Принцип в Сараево, и те, кто похитил Альдо Моро на улице Фани. Если не принимать во внимание маньяков, тот, кто убивает, всегда знает, зачем он это делает: ради денег, чтобы уничтожить врага, подлинного или мнимого, чтобы отомстить обидчику. Войны отвратительны, они — худший способ разрешения противоречий между нациями или группами людей, но бесполезными их не назовешь: воюющие стороны всегда преследуют те или иные цели, чаще, правда, несправедливые и порочные. Причинять страдания не является их основной задачей, однако они причиняют их

массам людей — мучительные, незаслуженные, хотя для них это всего лишь сопутствующий эффект, один из побочных результатов. Что касается двенадцати лет гитлеризма, уже вписавшихся в пространственно-временное историческое полотно, они отличались насилием как самоцелью, бесполезной жестокостью, направленной исключительно на причинение боли; и даже если нацизм ставил перед собой цели, достижение их всегда было сопряжено с чрезмерностью, непропорциональной самим этим целям.

Более трезво размышляя теперь, по прошествии времени, о тех годах, которые привели к разрушению Европы, а под конец и самой Германии, мы все еще не можем ответить самим себе на вопрос, что это было: последовательное осуществление бесчеловечного плана или проявление (единственное в истории и пока не объясненное) коллективного безумия? Логика, используемая во зло, или отсутствие логики? Как это нередко случается, альтернативные версии сосуществуют параллельно. У национал-социалистов был план, в этом нет никаких сомнений, и этот план имел свое обоснование: продвижение на Восток (давнишняя немецкая мечта), подавление рабочего движения, установление гегемонии в континентальной Европе, уничтожение большевизма и иудаизма, между которыми Гитлер не делал никакого различия, разделение мирового господства с Англией и Соединенными Штатами, апофеоз германской расы, в результате «спартанского» очищения от умственно и физически неполноценных, иначе говоря, от лишних ртов; все эти элементы были связаны между собой и основывались на некоторых постулатах, уже изложенных с предельной ясностью в гитлеровской книге «Майн Кампф». Наглость и радикализм, *hybris** и *Gründlichkeit***; логика беспардонная, но не безумная.

Отвратительными, но не безумными были и средства, используемые для достижения этих целей: развязывание жестоких войн в результате военной агрессии, подпитывание пятых колонн в других странах, переселение целых народов или их порабощение, стерилизация, уничтожение.

* Философский термин, букв. «необузданность, дерзость» (*древнегреч.*).

** Основательность, обстоятельность (*нем.*).

Ни Ницше, ни Гитлер, ни Розенберг не были невменяемыми, когда опьяняли себя и своих последователей проповедями о мифическом сверхчеловеке, которому все дозволено в силу его догматического и врожденного превосходства. Но не мешало бы задуматься над тем, почему все — и учителя, и ученики — теряли чувство реальности по мере того, как их мораль все больше расходилась с моралью, общей для всех времен и всех цивилизаций, являющейся частью нашего человеческого наследия, с которой хочешь не хочешь приходится считаться.

Следы рационального начала постепенно теряются, последователи превосходят (или предают) своего учителя именно и в первую очередь в плане применения бесполезной жестокости. Идеи Ницше мне глубоко отвратительны, я не могу найти в них ничего, что не противоречило бы идеям, близким мне по духу, меня тошнит от его пророческого тона, тем не менее, думаю, он никогда не испытывал желания мучить других. Равнодушие — да, оно читается на каждой странице, но *Schadenfreude*, радость от нанесения вреда ближнему, а тем более радость от сознательного причинения страдания — этого у него не было. Мучения *Ungestalten*, простых людей, безродных и безымянных, — цена, которую приходится платить за власть избранных. Это зло меньшее, не запланированное заранее, хотя все равно зло. Совсем другой природы слово и дело гитлеровского режима.

Примеры бесполезной жестокости нацистов вошли в историю: Ардеатинские пещеры, Орадур, Лидице, Бовес, Марцаботто и многие другие названия напоминают о бесчеловечных репрессиях, жестокость которых просто не укладывается в голове; но есть и примеры жестокости единичной, неизгладимые в памяти каждого из нас, бывших узников концлагерей; они — детали большой общей картины.

Почти все воспоминания депортированных начинаются с поезда, который вот-вот отправится в неизвестность. И не только по причине соблюдения хронологии событий, а еще из-за необоснованной грубости обращения конвойных, казавшихся до этого безвредными и вдруг, непонятно почему, ожесточившихся против людей, заполнявших товарные вагоны.

Нет такого дневника, таких мемуаров, в которых не упоминался бы поезд, опломбированный вагон, превращенный

из транспортного средства в передвижную тюрьму или даже в камеру смерти. Он всегда забит, но можно предположить, что предварительный расчет существует: согласно длительности пути и нацистской системе градации перевозимого человеческого груза в вагоны загружают от пятидесяти до ста двадцати человек. Так, при отправке эшелонов из Италии в каждом вагоне было по пятьдесят-шестьдесят человек (евреи, политические, партизаны, бедолаги, схваченные на улице во время облав, военные, арестованные после 8 сентября 1943 года). Возможно, плотность зависела от расстояния, возможно, от предчувствия, что эти депортированные в будущем будут свидетельствовать об условиях, в которых перевозили людей. Совсем другую картину представлял собой транспорт из Восточной Европы: славяне и — особенно — евреи были малоценным грузом, точнее, совсем ничего не стоили; им в любом случае суждено было умереть, так какая разница, умрут они по дороге в лагерь или сразу после прибытия? В вагоны составов, перевозивших польских евреев из гетто в лагерь или из одного лагеря в другой набивали по сто двадцать человек (ехать было недолго). Пятьдесят человек на один товарный вагон — и то было много, но люди могли все же одновременно лечь на пол и отдохнуть, правда, тесно прижавшись друг к другу. Когда в вагоне было по сто человек и больше, даже несколько часов пути превращались в ад: приходилось стоять на ногах или по очереди скрючившись сидеть на полу, а сколько там было стариков, больных, детей, кормящих матерей, сумасшедших или таких, кто, не выдержав трудностей пути, сходил с ума в дороге.

В нацистской практике железнодорожных перевозок были свои правила и свои исключения. Неизвестно, существовал ли какой-либо предписанный порядок или ответственные за депортацию действовали по собственному усмотрению, однако неизменным оставался один и тот же лицемерный совет (или приказ) брать с собой все ценное, в первую очередь, золото, деньги, драгоценности, меховые шубы, а в некоторых случаях (например, при транспортировке крестьян-евреев из Венгрии и Словакии) даже мелкий скот. «Все это может вам пригодиться», — с таинственным видом заговорщиков говорили конвойные. На самом деле это была хитрая форма грабежа, простой и ловкий спо-

соб переправлять ценности в рейх без лишнего шума и бюрократических формальностей, без специального транспорта и охраны на случай ограбления *en route**, — все доходило в целости и сохранности, а потом конфисковывалось. Неизменным было и то, что вагоны под погрузку подавались пустыми; даже для долгого пути (например, евреев из Салоник везли две недели) немецкие власти не заготавливали ничего — ни еды, ни воды, ни циновок или соломы, ни емкостей для отправления естественных потребностей. Не удосуживались они предупредить ни станционных начальников, ни начальников (если таковые имелись) сборных лагерей, чтобы те хоть что-то сделали для депортированных. Им это ничего не стоило бы, но систематическое пренебрежение к людям перерастало в бесполезную жестокость, в преднамеренное насилие над человеческой природой, в причинение страдания, в страдание ради страдания.

Иногда те, кого ждала депортация, имели возможность подготовиться; они видели отправку других эшелонов и на опыте своих предшественников учились заботиться обо всем необходимом заранее — естественно, в меру своих возможностей и ограничений, установленных немцами. Типичный тому пример — эшелоны из сборного голландского лагеря Вестерборк. Это был огромный лагерь с десятками тысяч евреев, и Берлин требовал от местных властей, чтобы те ежедневно депортировали не меньше тысячи человек. Всего из Вестерборка в Освенцим, Собибор и другие, менее крупные лагеря ушло девяносто три поезда. Из пассажиров тех поездов выжило примерно пятьсот человек, и среди них не было ни одного, кто оказался в числе первых депортированных, наивно веривших, что обо всем необходимом для трех-четырехдневного путешествия позаботятся организаторы их отправки. Неизвестно, сколько человек умерло в пути, насколько ужасной была дорога: никто не вернулся, чтобы об этом рассказать. Но спустя несколько недель один наблюдательный санитар вестерборкского лазарета заметил, что назад возвращаются те же самые составы, что увозили людей отсюда. Они курсировали между Вестерборком и лагерями назначения. Тогда догадались осмотреть вагоны и нашли записки от тех, кого депортиро-

* В пути (*фр.*).

вали раньше, тем, кого повезут за ними. Таким образом, последующие партии депортированных уже смогли позаботиться о еде и питье, а также о емкостях для отправления естественных нужд.

Эшелон, которым депортировали меня в феврале 1944 года, был первым, отправленным из сортировочного лагеря в Фоссоли (до этого эшелоны отправляли из Рима и Милана, но сведений о них нет). Эсэсовцы, принявшие перед этим бразды правления у итальянской службы общественной безопасности, не дали перед отправкой никаких внятных распоряжений. Путь будет долгим — это единственное, что нам удалось узнать. Кроме того, немцы постарались распространить выгодный для себя и издевательский для нас совет (я уже говорил о нем): берите, мол, побольше драгоценностей и золота, а главное — меховые и шерстяные вещи, потому что работать вам предстоит в холодных странах. Начальник лагеря (депортированный вместе с нами) догадался позаботиться о приличном запасе еды, а о воде — нет. Немцы, рассудил он, задаром ничего не дадут, но вода ведь ничего не стоит, разве не так? Что ни говори, но организаторы они хорошие... Не подумал он и о том, чтобы снабдить каждый вагон емкостью для отправления естественных нужд, и это упущение стало настоящим бедствием, страшнее жажды и холода. В моем вагоне было немало пожилых людей, мужчин и женщин, в том числе группа обитателей еврейского дома престарелых в Венеции. Для всех, но особенно для них, опорожняться прилюдно было позорно, немыслимо; это был удар по нашим устоям, нашему воспитанию, оскорбление нашего человеческого достоинства, непристойное на него посягательство, за которым угадывалось что-то более зловещее, а именно продуманное причинение страданий. На наше счастье (не уверен, что это подходящее к случаю выражение) в вагоне оказались также две молодые матери с грудными детьми, и одна из них захватила с собой горшок. Один-единственный, он служил всем пятидесяти пассажирам вагона. Через два дня мы вытащили из деревянных досок два гвоздя, забили их по двум сторонам угла и с помощью веревки и одеяла соорудили импровизированный туалет. Это символическое укрытие означало: мы еще не превратились в животных и не превратимся, пока у нас есть силы сопротивляться.

Что происходило в других вагонах, где не было и таких минимальных удобств, трудно себе даже представить. Эшелон раза два-три останавливался в чистом поле, вагонные двери раздвигались, людям разрешали спуститься, но не отходить от поезда и не уединяться. Один раз вагоны открыли во время стоянки на узловой австрийской станции. Эсэсовцы из конвоя развлекались, без стеснения глядя на мужчин и женщин, присаживавшихся на корточки, где придется — посреди платформы или на путях. Пассажиры немецких поездов не скрывали своего отвращения: такие, как эти, заслуживают своей участи; посмотрите только, как они себя ведут! Они не *Menschen**, не человеческие существа, а животные, свиньи, это ясно как божий день.

Но это был только пролог. В жизни, которая начиналась потом, в ежедневном лагерном ритме постоянно подвергающаяся оскорблению стыдливость составляла, особенно в начале, значительную часть совокупного страдания. Нелегко было привыкнуть к огромным коллективным уборным, к отведенному тебе времени, к стоящему прямо перед тобой очереднику, претенденту на твое место, который, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, иногда умоляюще, а иногда и требовательно повторял каждые десять секунд: «Hast du gemacht?» («Ну, ты все?») Но уже через несколько недель чувство неловкости начинало постепенно сходить на нет и в конце концов исчезало. Возникало *привыкание* (правда, не у всех) — милосердное слово, свидетельствующее, что превращение человеческих существ в представителей животного мира продвигается успешно.

Не думаю, чтобы подобное превращение планировалось или четко формулировалось заранее в каких-нибудь документах, на каких-нибудь «рабочих совещаниях» любого (высшего или низшего) уровня нацистской иерархической системы. Скорее это было логическим результатом функционирования самой системы; бесчеловечный режим распространяет бесчеловечность по всем направлениям, но в первую очередь — вниз. По мере того как слабеет сопротивление и растет покорность, заражаются и жертвы, и их преследователи. Бесполезная жестокость, оскверненная

* Люди (*нем.*).

стыдливость — таковы отличительные особенности существования во всех лагерях. Женщины Биркенау рассказывали, что, когда удавалось разжиться котелком, точнее, большой глубокой эмалированной миской, эта посуда служила трем разным целям: она была емкостью для ежедневной порции супа, ночным горшком, когда не пускали в уборную, тазиком для мытья, когда в умывальне была вода.

Что касается питания, во всех лагерях полагался литр супа в сутки; в нашем лагере, поскольку мы работали на химическом предприятии, нам давали два. Большое количество выпитой жидкости вынуждало часто отпрашиваться в уборную или, найдя укромный уголок, мочиться прямо на рабочем месте. Некоторым заключенным то ли от слабости мочевого пузыря, то ли от страха, то ли от нервного перенапряжения, не удавалось подолгу сдерживаться; случалось, они напускали полные штаны, за что получали удары и выслушивали насмешки. Один итальянец, мой ровесник, который спал на третьем ярусе, однажды ночью обмочился, обмочив всех, кто спал под ним, и те тут же пожаловались капо. Тот набросился на итальянца, но итальянец, несмотря на очевидность случившегося, свою вину отрицал. Тогда капо потребовал, чтобы он в качестве доказательства своей невиновности помочился тут же, на месте. У него, естественно, ничего не получилось, и капо его избил, но, несмотря на резонную просьбу итальянца разрешить ему перебраться вниз, велел оставаться на прежнем месте, потому что вопросы перемещения решал староста барака, а для него это были бы лишние хлопоты.

Подобно тому, как принудительно лимитировалось отправление естественных потребностей, людей принуждали раздеваться догола. В лагерь человек входил голым, даже больше, чем голым; мало того, что у него отнимали (конфисковывали) одежду и обувь, его лишали волос на голове и в других местах. Мне могут возразить: то же самое, мол, делалось и делается при поступлении в казарму, однако в лагере брили всех еженедельно и поголовно, а публичное, всеобщее оголение было неизменной и продуманной лагерной особенностью. В какой-то степени это насилие было продиктовано необходимостью (ведь человек раздевается перед тем, как встать под душ, или на врачебном осмотре), но бессмысленная чрезмерность делала раздевание оскорбительным.

За один лагерный день тебя принуждали раздеться не один раз: то проверяли на вшивость, то на чесотку, то проводили обыски; человек раздевался во время утреннего умывания, а также во время периодически проводившихся селекций, когда «комиссия» решала, в состоянии ли ты еще поработать или пора тебя ликвидировать. Голый человек — человек с оголенными нервами; он — беззащитная жертва. Даже выдаваемая нам грязная одежда и сабо на деревянной подошве служили слабой, но бесспорной защитой. Тот, у кого и этого не было, даже сам себя не мог воспринимать как человеческое существо: в собственных глазах он был червяком — голым, беззащитным, презренным, которого можно взять и в любой момент раздавить.

Такое же, вызывающее бессилие и растерянность чувство возникало в первые дни заключения из-за отсутствия ложки. Эта деталь может показаться несущественной тем, кто с детства даже на самой скромной кухне привык видеть массу всяких приспособлений, однако отсутствие ложки — совсем немаловажная деталь. Есть ежедневный суп без ложки можно было, лишь лакая его по-собачьи. Только спустя некоторое время, научившись ориентироваться (а как важно было понять это сразу или чтобы кто-то тебе объяснил!), новичок узнавал, что ложки в лагере есть, только они продаются на черном рынке, и платить за них надо супом или хлебом. Обычно ложка стоила полпайки хлеба или литр супа, но с вновь прибывших брали гораздо больше. После освобождения Освенцима мы обнаружили склад с тысячами новеньких ложек из прозрачной пластмассы, с десятками тысяч алюминиевых, стальных и даже серебряных ложек, попавших сюда из багажа депортированных. Это свидетельствовало не о бережливости немцев, а скорее о хорошо продуманном способе унижения. Вспоминается библейский эпизод (Суд 7: 5), в котором Господь наставляет Гедеона, как отобрать лучших воинов, — привести людей к воде и посмотреть, как они пьют: тех, кто будет лакать воду языком, «как лакает пес», или пить, встав на колени, не брать, а кто будет пить стоя, с руки, тех брать.

Я бы не спешил объявлять полностью бесполезными другие формы угнетения и насилия, многократно и почти слово в слово описанные в лагерной мемуаристике. Известно, например, что во всех лагерях один или два раза в день

проводились переклички. Это не были переклички в привычном смысле слова, когда всех выкликают поименно: при таком количестве заключенных (тысячи и десятки тысяч) подобное оказалось бы просто невыполнимым, тем более что в лагере у человека не было имени — он числился под пяти- или шестизначным номером. Это был *Zählappell*, количественный подсчет, сложный и трудоемкий, поскольку он должен был учитывать и переведенных накануне вечером в другие лагеря, и помещенных в санчасть, и умерших за ночь, чтобы результат за вычетом выбывших точно совпал с цифрами предыдущего дня и с численностью команд, которые колоннами по пять в ряд отправлялись на работу. Ойген Когон утверждал, что в Бухенвальде на вечернюю поверку надо было выносить умирающих и умерших, кладя их на землю тоже по пять в ряд, чтобы легче было считать.

Переклички, естественно, проводились под открытым небом в любую погоду и продолжались не меньше часу, а то и двух или трех, если счет не сходился; а если подозревался побег, на *Appellplatz* можно было провести и все двадцать четыре часа. Когда шел дождь или снег, когда было очень холодно, такие переклички превращались в пытку, лишавшую уже обессиленных к вечеру работой заключенных последних сил. Перекличка считалась бессмысленным ритуалом, хотя, скорее всего, она не была таковым и не являлась бесполезной жестокостью, если рассматривать ее в том же ключе, что и голод, и изнурительный труд, и даже (да простится мне мой цинизм, но я пытаюсь объяснить здесь не свою, а чужую логику) смерть взрослых и детей в газовых камерах. Все эти мучения были вариациями одной темы, а именно: присвоенного себе пресловутым высшим народом права порабощать и уничтожать низший народ. Сюда же надо отнести и переклички, которые в наших снах «после» — после освобождения — превращались в символ лагеря, вобрав в себя и непосильный труд, и холод, и голод, и отчаяние. Эти мучения, каждый зимний день сводившие кого-то в могилу, были неотъемлемой частью системы, традицией *Drill*, муштры, безжалостной милитаристской практикой, унаследованной от прусского режима и увековеченной Бюхнером в «Войцеке».

Для меня совершенно очевидно, что в конечном счете концентрационный мир со всеми своими чудовищно жес-

токими и бессмысленными законами был ничем иным, как разновидностью немецкого милитаризма, его практической реализацией. Армия лагерных заключенных была бесславной копией немецкой армии, точнее сказать, ее карикатурой. Военные носят чистую, приличную форму со знаками отличия, хефтлинги — грязную, безликую и бесцветную, но и на той и на другой положено иметь пять пуговиц, иначе нарушителю установленного порядка несдобровать. Военные маршируют, ходят сомкнутым строем под звуки оркестра, потому и в лагере должен быть оркестр, и маршировать под него полагается по всем правилам искусства, с равнением налево, в сторону помоста, где стоит начальство. Этот церемониал считался настолько важным, что проводился даже вопреки антиеврейским законам Третьего рейха, с параноидальной настойчивостью запрещавшим еврейским оркестрам и еврейским музыкантам исполнять произведения композиторов-арийцев, потому что тем самым они могли их осквернить. Но в еврейском лагере музыкантов-арийцев не было, а у композиторов-евреев почти не было военных маршей, поэтому в нарушение всех законов расовой чистоты в Освенциме, единственном месте немецкой империи, музыканты-евреи не только могли, но и должны были исполнять арийскую музыку — если надо, закон можно и обойти.

Наследием казармы был также обряд «заправки постели». Само собой разумеется, что там, где вместо кроватей — нары с матрацем из спрессовавшихся опилок, двумя одеялами и одной волосяной подушкой, которую, как правило, делят двое спящих на таких нарах, понятие «заправка постели» может восприниматься исключительно как эвфемизм. Тем не менее, «постели» полагалось заправлять сразу же после подъема, одновременно во всем бараке; обитателям нижних ярусов приходилось застилать свои матрацы одеялами, просунувшись между ног обитателей верхних ярусов, старающихся удержать шаткое равновесие, балансируя на краю доски, и занятых той же процедурой. Все постели должны были быть приведены в порядок за минуту, максимум — за две, потому что сразу же после этого начиналась раздача хлеба. Это были минуты невообразимой спешки: в воздух поднималось столько пыли, что ничего не было видно, в нервозной обстановке раздавались ругатель-

ства на всех языках, потому что «заправка постели» (*Bettenbauen* — так это называлось) должна была выполняться неукоснительно, это был прямо-таки сакральный ритуал. Матрац, весь в подозрительных пятнах, провонявший плесенью, следовало взбить; для этой цели в чехле были проделаны две дырки, куда просовывались руки; одно одеяло нужно было подвернуть под матрац, а второе, аккуратно сложив, положить на подушку, создав как бы ступеньку. В конечном результате должен был получиться прямоугольный параллелепипед с ровными краями, над которым возвышался второй параллелепипед меньшего размера, образованный накрытой одеялом подушкой.

Для лагерных эсэсовцев, а значит, и для всех барачных старост, *Bettenbauen* считалось почему-то делом первостепенной важности; возможно, аккуратная постель была для них символом порядка и дисциплины. Кто плохо заправлял постель или забывал ее заправить, того жестоко и публично наказывали; кроме того, в каждом бараке имелась пара *Bettnachzieher* («дозаправщиков» — не думаю, что в нормальном немецком мог существовать такой термин и что Гете понял бы, что имеется в виду). В обязанности этих «дозаправщиков» входило проверить каждую постель, а потом подровнять все вдоль прохода. Для этого они вооружались бечевкой во всю длину барака, натягивали ее над заправленными постелями и по этой бечевке выравнивали малейшие, вплоть до сантиметра, отклонения в ту или иную сторону. Этот ритуал был не столько трудным, сколько абсурдным и гротескным: матрац, взбитый с такими усилиями, был настолько тонок, что вечером продавливался под тяжестью тел до дощатого настила, так что фактически мы спали на голых досках.

Если посмотреть на проблему шире, начинает казаться, что законы и принципы казармы должны были для всей нацистской Германии стать заменой традиционным нормам и «буржуазным» правилам хорошего тона. Нелепая жестокость муштры начала проникать в воспитательную сферу уже с 1934 года и была направлена на свой собственный народ. В газетах того времени, еще сохранявших определенную свободу в изложении и критике событий, сообщалось об изнурительных походах, в которые отправляли подростков, мальчиков и девочек, в рамках военной подготовки: до

пятидесяти километров в день с тяжелыми рюкзаками за спиной и никакой пощады отстающим. Родителям и врачам, которые пытались протестовать, грозили политические санкции.

Совсем иная подоплека у татуировки — исключительно освенцимского изобретения. С начала 1942 года в самом Освенциме и в относящихся к нему лагерях (таких к 1944 году было сорок) личный номер заключенного не только нашивался на одежду, но и вытатуировывался на левой руке. Только немецкие подданные неевреи не подпадали под общее правило. Процедура выполнялась по быстрой методике специальными «писцами», которые фиксировали таким образом вновь прибывших со свободы, из других лагерей или из гетто. При особой любви немцев к любым видам классификации номер скоро приобрел свойства самого настоящего кода: мужчинам делали татуировку на внешней стороне руки, женщинам на внутренней; у цыган номеру предшествовала буква «*Z*», у евреев с мая 1944 года (то есть после массового наплыва венгерских евреев) перед номером стояла буква «*A*», вскоре ее заменили на «*B*». До сентября 1944 года в Освенциме не было детей: сразу же по прибытии их отправляли в газ. После сентября начали поступать поляки, арестованные в дни Варшавского восстания, причем целыми семьями. Им всем вытатуировывали номер, даже новорожденным.

Процедура не была особенно болезненной и длилась не больше минуты, но душу травмировала, потому что смысл ее был понятен каждому: этот нестираемый номер — знак того, что вам отсюда никогда не выйти. Так клеймят раба или скот, предназначенный для бойни, — вы и есть рабы и скот, у вас больше нет своих имен, номер — вот ваше новое имя. Татуировка была бессмысленной жестокостью, насилием ради насилия, чистым оскорблением: мало им было трех номеров, нашитых на штаны и куртки, зимнюю и летнюю? Мало: им нужен был еще один знак, еще одно напоминание, оставленное невинному на его плоти, — напоминание о том, что он приговорен. Кроме того, это был возврат к варварству, особенно мучительный для ортодоксальных евреев: ведь именно ради отличия евреев от «варваров» татуировка была запрещена Законом (Лев 19: 28).

Через сорок лет моя татуировка стала частью моего тела. Я не горжусь ею и не стыжусь ее, не выставляю напоказ и не прячу. Неохотно показываю любопытным, а тем, кто не верит, — с гневом. Молодые часто спрашивают, почему я не сведу ее. Зачем? В мире нас, кто еще носит на своем теле это свидетельство, и так осталось мало.

Чтобы говорить о судьбе самых незащищенных, приходится совершать насилие над самим собой (полезное?). И снова я пытаюсь следовать не своей логике. Для ортодоксального нациста совершенно очевидно, ясно и понятно, что всех евреев надо убить. Это догма, аксиома. Детей, естественно, тоже, и особенно беременных женщин, дабы воспрепятствовать рождению будущих врагов. Но зачем во время своих безумных злодеяний, во всех городах и деревнях своей безграничной империи они взламывали двери в домах умирающих? Чтобы запихивать их в поезда и везти далеко, в Польшу, где после несусветного путешествия те умрут на пороге газовой камеры? В моем вагоне были две девяностолетние старухи, которых вытащили из больницы в Фоссоли. Одна умерла в дороге, на руках не способных помочь ей дочерей. Не проще и не «экономнее» ли было оставить умирающих умирать в собственной постели или убить их на месте вместо того, чтобы добавлять их агонию к общей агонии эшелона? Действительно, начинаешь думать, что в Третьем рейхе лучшим выбором, выбором, предписанным сверху, считался такой, который умножал скорбь, приносил наибольшие страдания, физические и нравственные. Враг должен был не просто умереть; он должен был умереть в мучениях.

О работе в лагере написано много, я тоже в свое время писал об этом. Труд неоплачиваемый, а значит, рабский, являлся первой из трех целей, которые ставила перед собой концентрационная система; две другие — устранение политических противников и истребление так называемых низших рас. Попутно заметим: коренное отличие советского концентрационного режима от нацистского заключалось в отсутствии у него третьей цели и в придании главного значения первой.

Нацистские лагеря возникли почти сразу же после захвата Гитлером власти, и тогда, в начале, работа была исключительно методом наказания, практически бесполезным, не

имевшим результата занятием. Посылая голодных людей на торфоразработки или заставляя дробить камни, немцы преследовали лишь одну цель — подавление. В конечном счете, согласно нацистской и фашистской риторике, идущей в данном случае по стопам риторики буржуазной с ее постулатом «труд облагораживает», неблагородные противники режима не достойны труда, если понимать труд как полезное занятие. Их труд должен быть непрофессиональным, исключительно физическим, изнурительным, как у тягловых или вьючных животных: таскать, передвигать с места на место, носить на себе тяжести, согнувшись в три погибели. И это тоже бесполезная жестокость, хотя, впрочем, не совсем: ее польза в том, чтобы наказать за вчерашнее сопротивление и предотвратить сегодняшнее. Женщины Равенсбрюка рассказывали о нескончаемых днях во время карантина (перед тем, как их включали в бригады для работы на фабрике), которые они проводили, пересыпая песок в дюнах: стоя под палящим июльским солнцем в кружок, они перебрасывали песок друг дружке — из своей кучи в кучу соседке, а та своей соседке, и так до бесконечности, вернее до тех пор, пока песок не возвращался на первоначальное место.

Однако, сомнительно, чтобы эти физические и моральные муки, подобные мукам мифологических или дантовских персонажей, замышлялись для того, чтобы подавить в зародыше сопротивление — индивидуальное или коллективное: лагерные эсэсовцы больше походили на грубых недоумков, чем на хитрых чертей. Их воспитали жестокими, жестокость текла в их венах, была написана на их лицах, сквозила в их жестах, слышалась в их речи. Унижать «врага», заставлять его страдать было их ежедневной задачей. Они делали это не задумываясь, у них не было другой цели, цель была одна — унижать и мучить. Я не хочу сказать, что они были из другого теста, не такого, как мы (среди них встречались садисты и психопаты, но таких было немного), просто в течение нескольких лет их обучали не общепринятой, а извращенной морали. В тоталитарных режимах воспитание, пропаганда и информация не встречают препятствий, они всесильны; тем, кто родился и вырос в условиях плюрализма, этого не понять.

Помимо такой работы, смысл которой состоял лишь в том, чтобы довести человека до изнурения (о чем я гово-

рил выше), имелась и другая, способная стать защитой для тех немногих, кому удавалось продолжать трудиться в лагере по своей профессии, — для портных, сапожников, столяров, кузнецов, каменщиков: получив возможность заниматься привычным делом, они в определенной степени возвращали себе человеческое достоинство. Впрочем, работа выручала и многих других, она тренировала ум, отвлекала от мыслей о смерти, приучала жить сегодняшним днем: известно, что повседневные заботы, даже мучительные и неприятные, помогают не думать об угрозе более страшных, но более далеких, будущих неприятностях.

Я часто замечал у некоторых своих товарищей (а несколько раз и у самого себя) одну странную черту: глубоко укоренившаяся амбициозная привычка «хорошо делать свое дело» заставляла и вражескую работу, работу во вред своим и самому себе, «делать хорошо», вместо того чтобы изо всех сил стараться сделать ее «плохо». Чтобы саботировать работу на нацистов (помимо того, что это было опасно), требовалось преодолеть в себе внутреннее атавистическое сопротивление. Каменщик из Фоссано, который спас мне жизнь и которого я описал в своих книгах «Человек ли это?» и «Лилит», ненавидел Германию, немцев, их еду, их речь, их войну, но когда в связи с участившимися бомбардировками его направили возводить защитные стены, он делал их ровными, прочными, аккуратно подгоняя кирпичи и используя столько раствора, сколько требуется. И делал он это не потому, что привык подчиняться приказам, а из чувства профессиональной гордости. Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» описывает почти точно такой же случай: главный герой повести, приговоренный ни за что к десяти годам трудовых лагерей, получает удовольствие оттого, что кладет шлакоблоки по всем правилам и стена получается ровной: «Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». Кто видел знаменитый фильм «Мост через реку Квай», помнит абсурдное рвение находящегося в плену у японцев английского офицера, с каким тот руководит строительством смелого по своим инженерным решениям деревянного моста, и его возмущение, когда он узнает, что английские диверсанты мост заминировали. Так что любовь к хорошо

выполненной работе, как мы видим, — достоинство достаточно двусмысленное. Оно вдохновляло Микеланджело до его последнего дня, но и комендант Штангль, усерднейший палач Треблинки, раздраженно бросил журналистке, бравшей у него интервью: «Все, что я делал по доброй воле, я делал, как мог, хорошо. Так уж я устроен». Подобной «добросовестностью» гордился и комендант Освенцима Рудольф Гесс, когда рассказывал о работе своей творческой мысли, подсказавшей ему изобретение газовых камер.

И еще в качестве примера особо бесчеловечной и в то же время характерной для нацистов своей нелепостью жестокости я хотел бы назвать кощунственное (методичное, а не спорадическое) использование человеческого тела в качестве вещи, ничьей вещи, которой можно распоряжаться как угодно. О медицинских экспериментах, проводимых в Дахау, Освенциме, Равенсбрюке и других лагерях, уже много написано, и часть виновных (но не Йозеф Менгеле, самый главный и самый виновный из всех), среди которых не все были врачами, хотя и выдавали себя за таковых, понесла наказание. Диапазон этих экспериментов был велик — от испытаний на заключенных новых лекарств до бессмысленных и бесполезных с научной точки зрения пыток, проводимых по приказу Гиммлера и в интересах Люфтваффе. Специально отобранных заключенных (предварительно подкормив их, чтобы они набрали положенный по норме вес), подвергали длительному пребыванию в ледяной воде или помещали в декомпрессионные камеры, где создавалось такое же разряжение воздуха, как на высоте в двадцать тысяч метров (еще не доступной для тогдашних самолетов), чтобы установить, когда начинает закипать человеческая кровь. Такие данные можно получить в любой лаборатории с минимальными затратами и без человеческих жертв либо на основании простейших вычислений. Мне кажется важным напомнить об этих мерзостях теперь, когда справедливо ставится на обсуждение вопрос, допустимо ли и в каких пределах проводить болезненные научные опыты над лабораторными животными. Это типичная, не имевшая видимых целей, но весьма символичная жестокость распространялась и на человеческие останки — останки, которые каждая цивилизация, начиная с самых древних, еще доисторических времен, уважала, почитала,

причем нередко с оттенком страха. Их утилизация означала, что они воспринимались не как человеческие останки, а как грубое сырье, как материал, пригодный для производственных целей. И спустя годы вызывает ужас витрина освенцимского музея с волосами женщин, остриженных перед отправкой в газ или при поступлении в лагерь, — тоннами женских волос. От времени они выцвели и свалялись, но по-прежнему служат немым обвинением нацизму. Немцы не успели отправить их по назначению: этот необычный товар приобретали некоторые текстильные фабрики, производившие из него тик и другие промышленные ткани. Маловероятно, что те, кто перерабатывал эти волосы, не знали, что это за сырье, и также маловероятно, что продавцы, то есть лагерное начальство, имели с этих продаж большой доход: унизить жертву было важнее материальной выгоды.

Пепел, поступавший из крематориев тоннами каждый день, было легко узнать по наличию в нем зубов и позвонков. Несмотря на это, он имел широкое применение. Его использовали для засыпки заболоченных участков, в качестве утеплителя при строительстве дощатых построек или как фосфатное удобрение. Особой популярностью он пользовался в находившемся рядом с лагерем эсэсовском поселке, где им вместо гравия утрамбовывали дорожки, — не знаю уж, то ли из-за его свойства быстро затвердевать, то ли в силу происхождения — такой материал, дескать, пригоден только для попрания.

Я не тешу себя иллюзией, что исчерпал тему, и не пытаюсь доказать, что бесполезная жестокость являлась исключительной прерогативой Третьего рейха, непременным следствием его идеологических догм; события в Камбодже и преступления Пол Пота требуют других обоснований. Но Камбоджа далека от Европы, мы мало знаем о ней, как мы можем судить? Разумеется, бесполезная жестокость была одним из главных отличий гитлеризма, причем не только в рамках лагерной системы, и мне кажется, что лучше всего ее суть выражена в коротком диалоге из длинного интервью, которое писательница Гитта Серени взяла у уже упомянутого выше Франца Штангля, бывшего коменданта Треблинки, отбывавшего пожизненный срок в тюрьме Дюссельдорфа.

«Ясно, что вы все равно убили бы всех <...>, какой же смысл был в этих унижениях и жестокостях?» — спрашивает Серени у Штангля, а он отвечает: «Это было нужно, чтобы создать условия для тех, кто непосредственно выполнял операции. Чтобы им легче было делать то, что они делали».

Иными словами: прежде чем убить, жертву надо было довести до полной деградации, чтобы убийца меньше ощущал груз вины. Такое объяснение не лишено логики, и в этом, при всей чудовищности следующего из него вывода, — единственная польза бесполезной жестокости.

VI
Интеллектуалы в Освенциме

ВСТУПАТЬ В ПОЛЕМИКУ с тем, кого уже нет, неловко и не вполне честно, тем более если речь идет об интересном человеке, который мог стать твоим другом. Но иногда это бывает необходимо. Я говорю о Гансе Майере, или Жане Амери, философе-самоубийце и теоретике самоубийства, уже упомянутом мной в главе «Память об оскорблении». Между двумя этими именами — жизнь, лишенная покоя и стремления к покою. Родился Ганс в Вене в 1912 году в еврейской, но давно ассимилировавшейся семье, которая считала Австро-Венгерскую империю своей родиной. И хотя никто из близких не принял христианство, в доме праздновали Рождество и водили хоровод вокруг наряженной елки. Когда в семье случались небольшие неприятности, мать взывала к Иисусу, Иосифу и Марии; отец, погибший во время Первой мировой войны и запечатленный на фотографии в форме кайзеровского офицера тирольских стрелков, никак не напоминал умудренного жизнью бородатого еврея. До девятнадцати лет Ганс понятия не имел о существовании такого языка, как идиш.

Он оканчивает Венский университет по специальностям «Филология» и «Философия». С нарождающейся национал-социалистической партией у него нелады еще во время

учебы: ему безразлично, еврей он или нет; нацистам же безразличны его знания, его мировоззрение; единственное, что для них имеет значение, — это состав крови, а поскольку кровь его нечиста, этого достаточно, чтобы он стал врагом немецкой нации. Кулак нациста лишает его зуба, и юный интеллектуал гордится дыркой во рту, как если бы это был шрам, оставшийся от студенческой дуэли. После вступления в силу нюрнбергских законов в 1935 году и аннексии Австрии в 1938-м его судьба круто меняется; юный Ганс, пессимист и скептик от природы, не строит никаких иллюзий. Скоро ему становится совершенно ясно (*Luzidität** всегда было одним из любимых его слов), что всякий еврей в руках немцев — «мертвец, получивший отсрочку, тот, кого ждет смерть».

Сам он не считает себя евреем, потому что не знает древнееврейского, не знаком с еврейской культурой, не интересуется сионистскими идеями и в религиозном отношении скорее агностик. Не обладая национальным самосознанием, он не пытается развить его в себе искусственно: это будет подделка, убежден он, маскарад. Кто не рос с детства в еврейских традициях, тот не еврей и вряд ли сможет им стать. Традиции, как известно, передаются по наследству, они формируются веками, а не создаются в одночасье. И все же, чтобы жить, человеку нужна идентичность или чувство собственного достоинства. Для Ганса эти два понятия тождественны: кто теряет одно, теряет и другое и, став беззащитным, умирает духовно, а затем и физически. Теперь ему и многим евреям, которые, как и он, верили в немецкую культуру, было отказано в немецкой идентичности. На гнусных страницах штрейхеровского Stürmer еврей в соответствии с нормами нацистской пропаганды изображается волосатым, жирным, кривоногим паразитом с крючковатым носом и оттопыренными ушами, от которого можно ожидать одних неприятностей. Он не немец, это аксиома; одним только своим присутствием он оскверняет все, начиная с общественных туалетов и кончая скамейкой в парке, если вздумает на нее присесть.

От такого унижения, *Entwürdigung*, трудно защититься. Остальной мир равнодушно наблюдает за происходящим. Жертвами государственного произвола становятся и почти

* Ясность (*нем.*).

все немецкие евреи, так что они тоже чувствуют себя униженными. Единственный путь к спасению парадоксален и противоречив: смириться с судьбой (в данном случае со своим еврейством) и в то же время противиться навязанному выбору. Для молодого Ганса, вспомнившего, что он еврей, быть евреем невозможно и одновременно необходимо; здесь берет начало раздвоение, раздиравшее его до самой смерти, а возможно, и спровоцировавшее ее. Обладая душевным мужеством, он признает, что ему не хватает физической стойкости. В 1938 году он покидает свою «аннексированную» родину и эмигрирует в Бельгию. Теперь и до конца жизни он будет Жаном Амери (новая фамилия — почти анаграмма прежней). Исключительно из чувства собственного достоинства он принимает иудаизм, но, став евреем, входит «в мир больным одной из тех болезней, что не вызывают особых мучений, но непременно приводят к летальному исходу». Ученый, гуманист, специалист по немецкой литературе, он пытается стать франкоязычным писателем (правда, из этого ничего не получится) и примыкает в Бельгии к одной из групп движения Сопротивления, радужные политические надежды которой не оправдываются. Его нравственная позиция, стоившая ему больших физических и душевных сил, меняется: теперь она состоит в том, чтобы «нанести ответный (хотя бы символический) удар».

В 1940 году волна гитлеризма докатилась и до Бельгии. Жан, несмотря на сделанный выбор, остается интровертом, ученым-одиночкой. В 1943 году он попадает в лапы гестапо. От него требуют имена товарищей и организаторов движения, грозят пытками. Амери не герой: в своей книге он честно пишет, что если бы знал эти имена, то назвал бы их, но он их не знал. Мучители связывают ему руки за спиной, вздергивают на дыбу, так что плечевые суставы через несколько секунд выворачиваются, он висит на вывихнутых руках. Пытки продолжаются: его уже почти бесчувственное тело исполосовывают хлыстами, но Жан ничего не знает, не может спасти себя ценой предательства. Он остается в живых, но, распознав в нем еврея, его отправляют в Освенцим-Моновиц, куда попал и я, только несколькими месяцами позже.

Не будучи знакомы прежде, мы благодаря своим книгам познакомились после освобождения заочно и обменялись несколькими письмами. В описании мелочей, отдель-

ных деталей мы во многом сходимся, но есть одно любопытное несовпадение: я, считая, что сохранил об Освенциме детальные и неизгладимые воспоминания, уверен, что в лагере мы не встречались; он же утверждает, что помнит меня — правда, тогда он принимал меня за Карло Леви, которого в то время во Франции знали как политэмигранта и художника. Он даже утверждает, будто мы несколько недель жили в одном бараке и что он не может ошибиться, так как итальянцев в лагере было мало и встретить даже одного было редкостью, а поскольку последние два месяца я работал главным образом по специальности, химиком, то такой итальянец был редкостью вдвойне.

Эта глава — одновременно и краткое изложение, и парафраз, и критика *его* горького, леденящего душу эссе, имеющего два названия: «Интеллектуалы в Освенциме» и «На границах духа». Эссе входит в книгу, которую я уже много лет хотел бы видеть переведенной на итальянский и у которой также два названия: «По ту сторону преступления и наказания» и «Попытка выживания одного угнетенного».

Как видно по первому названию, тема эссе определена Амери четко. Он побывал во многих нацистских тюрьмах и лагерях (после Освенцима он еще недолго был в Бухенвальде и Берген-Бельзене), но его наблюдения по понятным причинам ограничиваются Освенцимом: границы духа, невообразимое — это было там. Быть интеллектуалом в Освенциме — это преимущество или недостаток?

Сначала следует выяснить, что понимается под словом «интеллектуал». Определение, предлагаемое Амери, спорно, хотя и достаточно типично:

...естественно, я не имею в виду никого из представителей так называемых интеллектуальных профессий: можно получить хорошее образование, достичь высокого профессионального уровня, но одного этого недостаточно. Все мы знаем адвокатов, врачей, инженеров, возможно, даже филологов, которые, вне всякого сомнения, умны и являются блестящими специалистами в своих областях знаний, но назвать их интеллектуалами нельзя. Для меня интеллектуал — это человек, который живет в системе духовных ценностей, понимаемых в широком смысле слова. В область его ассоциаций в основном попадают понятия, связанные с философией и гуманитарными науками. У него хорошо развито эстетическое восприятие,

> он тяготеет к абстрактному мышлению <...>. Когда он слышит слово «общество», то воспринимает его не в светском, а, прежде всего, в социологическом смысле. Физическое явление, вызывающее короткое замыкание, его мало интересует, зато он знает стихи Нейдхарта фон Ройенталя, куртуазного певца сельского мира.

Такое определение кажется мне неоправданно суженным, скорее это даже не определение, а автопортрет, и, если вспомнить, в каком контексте рассматривается вопрос, нельзя удержаться от легкой иронической улыбки: если бы кто-то еще в Освенциме знал фон Ройенталя так, как знал его Амери, это не дало бы ему ни малейшего преимущества. Мне кажется, в понятие «интеллектуал» стоило бы включить также, например, математика, натуралиста, того, кто занимается философией науки; и хотя известно, что в разных странах слово «интеллектуал» имеет разные оттенки, это не повод, чтобы сужать его смысл. В конце концов мы живем в Европе, которая хочет видеть себя единым культурным пространством, и рассуждения Амери имеют право на существование, даже если его концепция в процессе дискуссии получит более широкое толкование. Я не хотел бы вслед за Амери пытаться дать альтернативное определение моего нынешнего статуса (сегодня я, возможно, уже мог бы назвать себя интеллектуалом, хотя мне и неловко употреблять это слово применительно к себе, но тогда, в Освенциме, я точно им не был в силу моральной незрелости, невежества и обособленности, а если впоследствии и стал им, то, как это ни парадоксально, исключительно благодаря лагерному опыту). Я бы предложил расширить значение этого термина, применив определение «интеллектуал» к человеку, чье образование выходит за рамки его профессиональных занятий, чей культурный уровень постоянно растет, впитывая в себя новое и помогая идти в ногу со временем, и кого не только не оставляет равнодушным, а, напротив, влечет неизвестная область знаний, хотя каждому очевидно, что нельзя охватить все.

Впрочем, на каком бы определении мы не остановились, с выводами, сделанными Амери, нельзя не согласиться. Выполнять работу, которая была преимущественно физической, человеку образованному было в лагере гораздо труднее, чем необразованному. Ему не хватало не только сил, но и умения обращаться с орудиями труда, навыков, которыми,

в отличие от него, обладали рабочие и крестьяне, его товарищи. Образованный страдал, остро чувствуя свое унижение и свою отверженность, *Entwürdigung*, иначе говоря, потерю собственного достоинства. Хорошо помню свой первый рабочий день в Буне, на стройке. Еще до внесения пассажиров нашего эшелона в лагерный список, нас, итальянцев (почти сплошь людей с профессиями и коммерсантов), отправили расширять канаву. Я получил лопату, и тут начался кошмар: мне надо было захватить со дна тяжелую глину и перебросить ее за край канавы глубиной в два метра. Казалось бы, ничего особенного, на самом же деле это была трудная задача. Если как следует не размахнуться (причем размах должен быть точным), земля с лопаты упадет обратно, прямо на голову нерадивому землекопу.

Бригадир, в чье распоряжение мы попали, был, как и мы, новичком. Вольнонаемный пожилой немец, с виду человек приличный, он искренне негодовал, глядя на нашу безобразную работу. Когда мы попытались ему объяснить, что большинство из нас никогда не держали в руках лопаты, он нетерпеливо пожал плечами: какого черта, ведь мы заключенные в полосатых куртках, да к тому же евреи. Мы должны работать, потому что «труд делает свободным» — разве не так написано на лагерных воротах? (И он не шутил, он думал именно так!) Если мы не умеем работать, значит, должны научиться. Уж не капиталисты ли мы случайно? Тогда так нам и надо. Не все же гнуть спину таким, как он, настало время и нам попотеть. Кое-кто начал было протестовать, но тут же получил свои первые в лагере удары от капо; кое-кто упал духом, остальные (и я в их числе) сообразили, что выхода нет, и самое лучшее — научиться владеть лопатой и киркой.

В отличие от Амери и других, я не чувствовал себя особенно униженным физической работой — очевидно, к тому времени я не стал еще стопроцентным интеллектуалом. Да и что в ней унизительного? Я действительно получил университетский диплом, но моей заслуги здесь не было, просто мне повезло, мои родители были достаточно обеспечены, чтобы дать мне возможность учиться, а многие мои сверстники копали землю уже с подросткового возраста. Разве я не был сторонником равенства? Вот и получил его. Через несколько дней, когда мои руки и ноги распухли и покры-

лись кровавыми мозолями, я пришел к выводу, что даже землекопами вдруг не становятся. Мне срочно пришлось обучиться важным вещам, которые менее везучие люди (в лагере они оказались более везучими) знают с детства: как правильно держать лопату и другие орудия труда, правильно управлять телом и двигать руками, не перенапрягаться и уметь терпеть боль, давать себе отдых, чтобы окончательно не выдохнуться, пусть даже ценой пощечин и пинков капо, а то и «гражданских» немцев из IG Farbenindustrie. В отличие от полученного при ударе шока, сами удары, как я уже говорил, не были смертельны: нанесенные по всем правилам искусства, они содержали в себе и дозу анестезии — для тела и для души.

Не только физический труд, но и сама жизнь в бараке была для образованного человека гораздо мучительнее. Это была жизнь по Гоббсу, нескончаемая война всех против всех (я хочу уточнить, что говорю об Освенциме 1944 года, столице концентрационного мира; в другое время в других лагерях могло быть лучше или намного хуже). Зуботычину от начальства можно было снести, это было, что называется, проявление непреодолимой силы; но снести удары от своих товарищей невозможно, потому что эти удары не ждешь, потому что это против правил. Невежественный человек на такой удар реагирует спокойнее. Между тем, именно ручной труд, даже самый тяжелый, мог помочь человеку вернуть попранное достоинство, помочь приспособиться, научить воспринимать работу как своего рода аскезу или, в зависимости от темперамента, как конрадовское осознание пределов своих возможностей. Очень трудно было приспособиться к рутинной стороне барачной жизни: к идиотскому требованию безупречно заправлять постели (отнесенному мной к проявлениям бесполезной жестокости), к мытью дощатых полов грязными мокрыми тряпками, к тому, что одеваться и раздеваться надо было по команде — то для бесчисленных проверок на вшивость и на чесотку, то для утреннего умывания. И еще эти пародийные псевдовоенные смотры на *Appelplatz* с их «Сомкнуть ряды!», «Равнение напра-во!» или вдруг — «Шапки долой!» перед каким-нибудь эсэсовским чином со свинячим брюхом. Все это воспринималось как лишение, как гибельное падение в безутешное детство, в котором нет наставников и любви.

Амери-Майер утверждает, что страдал, слыша, как калечат его родной немецкий (о проблемах общения я писал в четвертой главе). Он страдал иначе, чем мы, депортированные, оказавшиеся вдруг в положении глухонемых; его страдания были, если можно так сказать, скорее нравственными, а не физическими; он страдал как раз из-за того, что *знал* немецкий и, будучи филологом, обожал его; страдал, как страдал бы скульптор, если бы на его глазах уродовали или разбивали его статую. Страдания ученого в данном случае отличались от страданий малообразованного иностранца: для первого лагерный немецкий был варварским жаргоном, который он понимал, но говорить на нем у него язык не поворачивался; последнему немецкий, на котором говорили в лагере, был незнаком, а незнание официального языка было опасно для жизни. Один был депортированный, другой — чужой среди своих.

Теперь о побоях, совершаемых своими же, заключенными. Не без гордости и удовольствия Амери в другой главе рассказывает о ключевом для своей новой морали случае «ответного удара», *Zurückschlagen*. Один уголовник, здоровенный поляк, просто так, без особого повода, ударил Амери по лицу. Тот не импульсивно, а вполне сознательно, в знак протеста против извращенной лагерной системы, ответил ударом на удар со всей силой, на какую был способен. «Все свое достоинство, — пишет он, — я вложил в этот удар, направленный ему в челюсть; то, что я физически был намного слабее его, значения не имело, и хотя он в ответ избил меня до полусмерти, я, несмотря на боль, испытал удовлетворение».

Здесь я должен признаться в собственной ущербности: я не способен «ответить» ударом на удар, и не потому, что считаю себя святым или мешает интеллектуальный аристократизм, а исключительно из-за неумения драться. Возможно, виновато отсутствие политического воспитания: ведь не существует ни одной политической программы, даже самой умеренной, самой неагрессивной, которая не использовала бы те или иные методы борьбы. А может, мне просто недостает смелости. Я способен противостоять естественным опасностям или бороться с болезнью, но полностью теряюсь перед агрессивным человеком. «Меряться силой» — на такое я не способен и никогда, если мне не изменяет память, не был способен даже в далеком детстве, о чем, впрочем, вовсе

не жалею. Именно поэтому моя партизанская деятельность была столь короткой, мучительной, бессмысленной и трагичной: я играл не свою роль. Я восхищаюсь стойкостью Амери, его мужественным решением покинуть башню из слоновой кости и выйти на поле боя, но такое и по сей день не для меня. Я восхищаюсь, но должен подчеркнуть, что этот выбор продлил его Освенцим после Освенцима, привел его на позиции столь суровой непримиримости, что он перестал чувствовать радость жизни, да и саму жизнь. Кто «меряется силой» со всем миром, тот возвращает себе попранное достоинство, но платит за это слишком высокую цену, потому что уверен в своем поражении. Самоубийство Амери, совершенное им в 1978 году в Зальцбурге, окутано туманом, как и все самоубийства, но, если оглянуться назад, история с поляком может пролить на него свет.

Несколько лет назад я узнал от нашей общей приятельницы Хети С., о которой пойдет речь ниже, что в одном из писем к ней Амери назвал меня «всепрощенцем». Я воспринял это не как обиду или похвалу, а как неточность. У меня нет привычки прощать, я не простил ни одного из наших тогдашних врагов и не намерен прощать их последователей в Алжире, Вьетнаме, Советском Союзе, Чили, Аргентине, Камбодже, ЮАР, потому что не знаю таких человеческих законов, которые отменяли бы вину; я полагаюсь на правосудие, а сам не способен ни с кем меряться силой или наказывать виновных.

Всего один раз я попытался это сделать. Элиас, карлик с мощными мускулами, о котором я рассказал в своих книгах «Человек ли это?» и «Лилит» и который, судя по всему, в лагере был вполне счастлив, не помню по какой причине схватил меня за руки и, осыпая проклятиями, прижал к стене. Как и Амери, я из гордости попытался оказать сопротивление. Осознавая, что предаю сам себя и нарушаю собственные правила, я, следуя чуждым мне и жестоким законам предков, собрался с силами и ударил его по ноге своим деревянным башмаком. Элиас взревел скорее из-за ущемленного самолюбия, чем от боли. Рассвирепев окончательно, он повалил меня на землю и сжал мне горло, не отрывая своих цепких, бледно-голубых, как будто фарфоровых глаз (я и сейчас вижу их перед собой) от моего лица. Он не отпускал меня до тех пор, пока не увидел, что я начинаю терять сознание; тогда, не сказав ни слова, он разжал пальцы и ушел.

После этой истории право ответить ударом на удар, наказать, воздать по заслугам я предпочитаю делегировать законным органам своей страны. И мой выбор окончателен. Я знаю, насколько плохо подчас работают соответствующие механизмы, но я таков, каким сформировало меня мое прошлое, и уже не изменюсь. Если бы я видел, как рушится мир рядом со мной, если бы был вынужден отправиться в изгнание, лишившись своей национальной идентичности, если бы терял сознание и умирал от пыток, возможно, и я научился бы наносить ответные удары и питался обидой и гневом, которыми дышит каждая страница безысходного сочинения Амери.

Выходит, культура — скорее недостаток для узника Освенцима, чем преимущество. А может быть, все-таки преимущество? Я был бы неблагодарным, если бы отрицал значение скромной (и «старомодной») культуры, которую мне привили в лицее и в университете. Амери этого тоже не отрицает. От культуры случалась и польза, правда не часто, не везде и не всегда, а лишь иногда, в очень редких случаях, зато эта польза была драгоценна, как драгоценный камень, и ты чувствовал себя на седьмом небе (правда, существовала опасность свалиться на землю, причем чем выше ты успел воспарить, тем больнее было падать).

Амери, например, рассказывает про одного своего друга, который изучал Маймонида в Дахау. Этот друг работал санитаром в санчасти. Дахау был одним из самых страшных лагерей, тем не менее там имелась библиотека, а в Освенциме даже одним глазком заглянуть в газету было невероятным, да и опасным делом. Амери также рассказывает, что однажды вечером, возвращаясь в колонне с работы и меся ногами польскую грязь, он вспоминал стихи Фридриха Гельдерлина и надеялся испытать то же восхищение, что испытывал когда-то, но этого не произошло: знакомые стихи звучали, как и прежде, но ничего не говорили сердцу. А в другом случае (в санчасти, что характерно, да еще и после дополнительной порции супа, заглушившей на время голод) его привел в полное умиление вызванный из памяти образ смертельно больного, но преданного офицерскому долгу Иоахима Цимсена из «Волшебной горы» Томаса Манна.

Мне культура помогала. Не всегда, иногда исподволь, неожиданно, но она приносила пользу, а может быть, даже и спасала. Сорок лет спустя я перечитал главу «Песнь об Улиссе» из книги «Человек ли это?» — один из немногих эпизодов, правдивость которого может быть подтверждена (что немаловажно, поскольку через сорок лет я опасаюсь полагаться на собственную память; я писал об этом в первой главе) моим тогдашним собеседником Жаном Самуэлем, одним из тех редких героев моей книги, кто уцелел. Мы остались друзьями, много раз встречались, и его воспоминания совпадают с моими: он помнит ту нашу беседу, но, так сказать, без акцентов или, точнее, с другими акцентами. Сам Данте его не интересовал; его интересовал я в своей наивной и самонадеянной попытке передать ему свои путанные школьные знания и научить его понимать Данте и мой язык всего за полчаса и с полным бачком супа в руках. Так что, когда я писал «я отдал бы сегодняшний суп, лишь бы вспомнить...», я не врал и не преувеличивал. Я действительно готов был отдать хлеб и суп (то есть жизнь), чтобы вызвать из забытья те воспоминания, которые сегодня, когда они напечатаны, я могу освежить в памяти в любую минуту, при этом совершенно бесплатно, из-за чего они кажутся ничего не стоящими.

На самом деле, тогда и там они дорогого стоили, потому что позволяли мне восстановить связь с прошлым, спасти его от забвения, утвердить свою идентичность. Они убеждали меня, что мой мозг, хотя и сосредоточен на насущных проблемах, не перестал функционировать. Они прошли тогда перед глазами у меня и моего собеседника и подарили передышку — эфемерную, но не бессмысленную и даже освобождающую: одним словом, помогли вновь обрести себя. Кто читал «451° по Фаренгейту» Рея Брэдбери (или смотрел фильм), может представить себе, что такое жить в мире без книг и какую ценность приобретает заключенная в них память. Для меня таким миром стал лагерь; помню, как до и после «Улисса» я приставал к своим товарищам итальянцам, прося их помочь мне извлечь из памяти вчерашней жизни тот или иной отрывок, правда, без всякого успеха. Больше того, в их глазах сквозило недовольство и подозрение: сдался ему этот Леопарди и еще какое-то число Авогадро! Может, он свихнулся от голода?

Не должен я забывать и того, как помогла мне моя профессия химика. Она не раз спасала меня от селекций и смерти в газовой камере. Как позже я понял из прочитанного (и в первую очередь из книги Дж. Боркина «The Crime and Punishment of IG-Farben», London, 1978), лагерь Моновитц, хотя и относился к Освенциму, был собственностью производственной фирмы IG Farbenindustrie, иначе говоря, лагерем частным, и немецкие производители, менее близорукие, чем нацисты, понимали, что специалисты, к которым и я, выдержав экзамен по химии, стал принадлежать, не так легко заменимы. Я хочу сказать не о привилегированных условиях, не об очевидных преимуществах работы под крышей, работы, которая не требовала физических усилий и обходилась без надзирающих капо, а о другой выгоде: думаю, что могу «на личном опыте» оспорить утверждение Амери, исключающее ученых, и особенно техников, из числа интеллектуалов; последних, по его мнению, можно встретить исключительно на литературном и философском поприще. А Леонардо да Винчи, называвший себя «omo sanza lettere»*, выходит, интеллектуалом не был?

Вместе с багажом практических знаний я приобрел в университете и привез с собой в Освенцим трудно определимый запас умственных привычек, навыков, связанных с химией и смежными областями, но имеющих более широкое применение. Если я поступлю так-то и так-то, как среагирует вещество у меня в руках или человек, мой собеседник? Почему оно, он или она демонстрируют, разрушают или меняют привычные формы взаимодействий? Могу ли я предугадать, что произойдет возле меня или со мной через минуту, через день, через месяц? Если да, то что указывает на это, а что не имеет к этому отношения? Могу ли я предвидеть удар, заранее предугадать, откуда он последует, избежать его, уклониться?

Но прежде всего, и это самое главное, моя профессия помогла мне выработать привычку, к которой можно относиться по-разному, называя, в зависимости от точки зрения, человечной или бесчелочечной, — привычку никогда не оставаться равнодушным к тем, с кем меня сводит судьба. Это человеческие существа, но одновременно и «образцы», опечатанные экземпляры, ждущие, чтобы их опреде-

* Неграмотный человек (*итал.*).

лили, проанализировали, взвесили. Собрание «образцов», предоставляемое мне Освенцимом, было обширным, разнообразным и странным; состоящее из друзей, врагов и нейтральных людей, оно давало пищу моему любопытству, почему-то воспринимаемому некоторыми — и тогда и теперь — как взгляд отстраненного наблюдателя. Но эта «пища» действительно сохраняла живой какую-то часть меня и в дальнейшем дала мне материал для моих книг. Как я уже говорил, не знаю, был ли я тогда и там интеллектуалом или нет. Возможно, и был — в те моменты, когда слабело притеснение. А если стал им потом, то должен быть благодарен почерпнутому опыту. Я знаю, это «натуралистическое» отношение не обязательно должно идти от химии, но у меня оно, безусловно, от химии. Кроме того, сколь бы цинично это ни прозвучало, для меня, как и для Лидии Рольфи, и для всех, кому «повезло» выжить, лагерь стал университетом; он научил смотреть вокруг и разбираться в людях.

Именно в этом отношении мое видение мира полностью отличалось от видения мира Амери, моего товарища и антагониста. Читая его, замечаешь совсем другой интерес — интерес политического борца к вирусу, что заразил Европу и угрожал (и до сих пор еще угрожает) миру; интерес философа к Духу, место которого в Освенциме оставалось свободным; интерес униженного ученого, в силу исторических обстоятельств лишившегося родины и идентичности. Его взгляд всегда направлен вверх, его внимание редко привлекает лагерная толпа и ее характерный персонаж — «мусульманин», человек изнуренный до крайности, интеллект которого умер или вот-вот умрет.

Культура могла приносить пользу, но в крайних случаях и на короткое время; могла скрасить часы, закрепить мимолетное знакомство, поддержать в живом, активном состоянии мозг. Естественно, она была бессильна помочь сориентироваться или понять — в этом мой опыт иностранца совпадает с опытом немца Амери. Ни рассудок, ни искусство, ни поэзия не могли помочь осмыслить происходящее, понять, что это за место, куда они были депортированы. В «той» жизни, с ее постоянной тоской, пронизанной ужасом, удобнее было бы забыть их, как удобнее было бы, находясь «там», научиться забывать дом и семью; я имею в виду не окончательное

забвение, на которое в конечном счете не способен никто, а возможность отправлять воспоминания в самый дальний угол памяти, где скапливаются ставшие помехой и в повседневной жизни уже не нужные воспоминания.

Людям необразованным это удавалось легче, чем образованным, они скорее усваивали первейшую лагерную мудрость: «не пытаться понять». Пытаться понять там, на месте, было делом бесполезным как для тех многочисленных заключенных, что попадали в Освенцим из других лагерей, так и для тех, кто, как Амери, изучал историю, логику, основы нравственности и прошел через тюрьмы и пытки; бесполезная трата сил, которые разумнее было бы направить на ежедневную борьбу с голодом и изнуряющим трудом. Логика и мораль мешали согласиться с алогичной и аморальной действительностью, и, отказываясь принять ее, образованный человек, как правило, быстро впадал в отчаяние. Однако разновидностей человека-животного бесконечно много, и я не только встречал, но и описал в свое время в высшей степени культурных и рафинированных людей, преимущественно молодых, которые в условиях гетто опростились, одичали и благодаря этому выжили.

Простой человек, привыкший не задавать вопросов, не спрашивать «почему», избегал бесполезных мучений; часто ремесло или физическая работа облегчали ему привыкание к лагерному быту. Я затрудняюсь привести полный список таких ремесел или работ, поскольку в разных лагерях и в разное время они отличались друг от друга. Но вот любопытный пример: в Освенциме в январе 1944 года, когда русские уже были на подходе, когда налеты стали ежедневными и от мороза полопались все водопроводные трубы, была создана *Buchhalter-Kommando*, команда счетоводов. В нее взяли и описанного мной в третьей главе книги «Человек ли это?» Штайнлауфа, что, впрочем, не спасло его от смерти. Разумеется, это крайний случай, который свидетельствует о полном безумии, царившем в неумолимо приближающемся к закату Третьем рейхе, но были и нормальные, понятные ситуации, позволявшие портным, сапожникам, механикам, каменщикам заниматься своим делом; более того, каменщиков не хватало. В Моновитце была организована (вовсе не из гуманных соображений) школа, куда для постижения искусства каменной кладки брали учеников моложе восемнадцати лет.

Даже философ, пишет Амери, мог осознать и принять происходящее, но путь к такому осознанию был долог. Иногда для этого требовалось сломать барьер здравого смысла, мешавшего видеть реальность слишком жестокой, и, живя в чудовищном мире, допустить, что чудовища существуют и что наряду с картезианской логикой есть и логика эсэсовская:

А что если те, кто намеревался истребить его, были правы только в силу того неоспоримого факта, что они сильнее всех? В таком случае присущая интеллектуалам духовная терпимость и привычка все подвергать сомнению становятся факторами саморазрушения. Да, эсэсовцы умеют хорошо делать то, что делают; естественного права не существует, нравственные категории рождаются и умирают, как мода. Была такая страна Германия, которая отправляла на смерть евреев и политических противников, поскольку полагала, что только таким путем может реализовать себя. А что? Греческая цивилизация тоже основывалась на рабстве, афинское войско заняло остров Милос, как эсэсовцы Украину. Начиная с тех пор, когда свет истории стал освещать прошлое, человеческие жертвы не поддаются исчислению, а вера в то, что человек становится лучше, — наивная выдумка, родившаяся в XIX веке. «Links, zwei, drei, vier»*, — скандирует капо, чтобы заключенные шли в ногу, и это такой же ритуал, как и все остальные. Что можно противопоставить сегодняшним ужасам? По двум сторонам Аппиевой дороги, как изгородь, стояли кресты с распятыми рабами, а в Биркенау разливалось зловоние от сожженных человеческих тел. В лагере интеллектуалы были уже не на стороне Красса, а на стороне Спартака, вот так.

Капитуляция перед ужасами прошлого могла заставить человека образованного отречься от своего статуса интеллектуала и прибегнуть в борьбе за жизнь к тем же средствам, какими пользовался его необразованный товарищ: «раз так было всегда, то так будет и впредь». Возможно, мое незнание истории защитило меня от подобных метаморфоз. Однако я (на свое счастье) подвергался иной опасности, на которую справедливо указывает Амери: по своей природе немецкий интеллектуал — осмелюсь добавить я — имеет склонность принимать сторону власти, а значит, одобрять ее. Он следует Гегелю, обожествлявшему Государство — любое государство, — сам факт существования ко-

* Левой, два, три, четыре (*нем.*).

торого уже оправдывает это существование. Гитлеровские хроники полны примеров, подтверждающих эту тенденцию: достаточно назвать учителя Сартра философа Хайдеггера, лауреата Нобелевской премии физика Штарка, высшего представителя католической церкви в Германии кардинала Фаульхабера и многих, многих других.

Наряду с этой латентной предрасположенностью интеллектуала-агностика Амери отмечает и другой факт, на который мы, бывшие узники, тоже обращали внимание: неагностики приверженцы той или иной веры, меньше подпадали под обаяние власти, разумеется, если сами не были адептами национал-социализма (это уточнение вовсе не лишнее; в лагере среди отмеченных красным треугольником встречались и убежденные нацисты, впавшие в немилость из-за идеологических разногласий или по личным мотивам). Их никто не любил, тем не менее испытание лагерем они переносили лучше остальных, и в процентном отношении выживших среди них больше.

Как и Амери, я тоже попал в лагерь неверующим, неверующим был освобожден, неверующим остаюсь и поныне; более того, опыт лагеря с его чудовищными злодеяниями лишь укрепил меня в моем неверии. Меня смущала и до сих пор смущает непререкаемость утверждения трансцендентальной справедливости и воли провидения в той или иной форме. Почему умирающих запихивали в вагоны для скота, почему детей бросали в газовые камеры? Должен признаться, что однажды (да, всего один-единственный раз) я не устоял и пытался искать спасения в молитве. Это было в октябре 1944 года, в единственный раз, когда я отчетливо осознал неминуемость смерти; когда голый, стиснутый со всех сторон другими голыми телами — товарищами по бараку, с регистрационной карточкой в поднятой руке, я ждал своей очереди, чтобы пройти перед «комиссией», которой достаточно было одного взгляда, чтобы определить: пора мне отправляться в газовую камеру или я еще достаточно силен, чтобы работать. На мгновение я почувствовал потребность воззвать о помощи, молить о спасении, потом, несмотря на отчаяние, рассудок взял верх: правила игры до конца партии не меняют, даже если ты в проигрыше. Молиться в таком настроении было не просто абсурдом (на что я буду жаловаться и кому?), но и богохульством, непристойностью,

проявлением крайнего безбожия, на какое только способен неверующий. И я подавил в себе это желание, твердо зная, что, если выживу, меня будет мучить стыд.

Но не только в роковые минуты селекций и воздушных налетов, но и в нудные лагерные будни верующим жилось легче — это отметил и Амери, и я. И не имело существенного значения, был их символ веры религиозным или политическим. Католические и протестантские священники, раввины всех направлений, воинствующие сионисты, свидетели Иеговы, наивные или зрелые марксисты — все они были объединены спасительной силой своей веры. Их вселенная была обширней нашей, более растянутой во времени и пространстве и, главное, более понятной; у них был ключ, была точка опоры, было тысячелетнее завтра, и принести себя в жертву ради него, ради места на небе или на земле, где справедливость и сострадание победили или победят в будущем, возможно еще не скоро, но непременно, будь то в Москве, в небесном или земном Иерусалиме, имело смысл. Их голод отличался от нашего: он был божественным наказанием, искуплением, исполнением обета или отрыжкой загнивающего капитализма. Страдание — собственное или окружающих — имело для них свое объяснение, а потому отчаяние их не было безграничным. В их взглядах читалось сострадание, иногда презрение, некоторые из них во время передышек от тяжелой работы пытались обратить нас в христианство. Но как можешь ты, атеист, думать о вере или принимать ее только тогда, когда тебе это удобно?

В один из первых после освобождения незабываемых, насыщенных событиями дней, с их ужасающей картиной умирающих и умерших, с разносящим заразу ветром и бурым от нечистот снегом, русские отправили меня побриться к парикмахеру — впервые в моей новой жизни свободного человека. С парикмахером, бывшим французским рабочим и политическим активистом, мы сразу же прониклись друг к другу братскими чувствами, и, обсуждая с ним наше невероятное освобождение, я не избежал банальности: нас приговорили к смерти, а потом освободили у подножья гильотины, разве не так? Он раскрыл рот от удивления и сердито воскликнул: «...mais Joseph était là!»* Какой еще Иосиф? Мне

* Здесь: «Так ведь это все Иосиф!» (*фр.*).

потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он говорит о Сталине. Да, Сталин всегда был его крепостью, его *твердыней*, воспетой в псалмах, поэтому он не отчаивался.

Демаркационная линия между образованными и необразованными не совпадала с делением на верующих и неверующих; и тех, и других можно было разместить по четырем квадратам в следующем сочетании: образованные верующие, образованные неверующие, необразованные верующие, необразованные неверующие. Четыре колоритных островка в бескрайнем сером море полуживых, которые, может, и были когда-то образованными или верующими, но давно уже не задают вопросов, и спрашивать их о чем-либо бесполезно и жестоко.

У интеллектуалов, замечает Амери (а я уточняю: *у молодых интеллектуалов*, какими он и я были во время ареста и заключения), благодаря прочитанным книгам возник литературный образ смерти — приукрашенный, без запаха тления. Размышления немецкого филолога на эту тему перемежаются с предсмертными словами Гете («Больше света!»), с цитатами из «Смерти в Венеции» Томаса Манна и из «Тристана и Изольды». Для нас, итальянцев, смерть — это второе слово в паре «любовь и смерть», это благородные образы Лауры, Эрменгарды и Клоринды, это жертва солдата в бою («И кто за родину умрет, тот будет вечно жить»; «Прекрасная смерть жизнь осветит»). Этот необъятный архив защитных заклинаний имел в Освенциме (как, впрочем, и в любой больнице сегодня) короткую жизнь: «Смерть в Освенциме» была тривиальной, обычной, бюрократической. Она не обсуждалась, не находила «утешения в слезах». Перед лицом смерти, привычки к смерти граница между культурой и некультурой исчезала. Амери утверждает, что думал не столько о том, *что* умрет (в этом он не сомневался), сколько о том, *как* умрет:

Мы обсуждали, сколько нужно времени, чтобы яд в газовой камере убил человека. Думали о том, почему смерть от инъекций фенола так мучительна. Что лучше: пуля в затылок или смерть от истощения в санчасти?

В этом вопросе мой опыт и мои воспоминания расходятся с опытом и воспоминаниями Амери. Я был моложе,

невежественнее Амери и не столь разумен, не столь впечатлителен, как он, и, может, потому мне было, о чем думать, кроме смерти: где разжиться хлебом и починить башмаки, как избежать изнурительной работы, где украсть метлу, как переварить увиденное и услышанное. Смысл жизни состоит в том, чтобы как можно лучше защитить себя от смерти. И не только в лагере.

VII
Стереотипы

ТЕ, КТО ПЕРЕЖИЛИ заключение (и вообще все, кто прошли через суровые лагерные испытания), делятся на две противоположные, резко различающиеся категории — на тех, кто молчит, и тех, кто говорит. И у первых, и у вторых свои резоны. Молчат те, кого особенно глубоко задело чувство, которое я для простоты назвал «стыдом», кто не может найти согласия с самим собой и чьи раны до сих пор кровоточат. У тех, что говорят — и часто много говорят, — на это свои причины. Они говорят, потому что, независимо от тяжести пережитого, считают свое (пусть уже далекое) заключение главным из того, что было в их жизни — и в плохом, и в хорошем. Говорят, потому что понимают: они свидетели процесса планетарного масштаба, события века. Говорят, потому что (как гласит еврейская мудрость) «о минувших несчастьях рассказывать легко». Франческа объясняет Данте: «Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастии». Но верно и обратное, и с этим согласится каждый уцелевший: хорошо сидеть в тепле, за столом, на котором еда и вино, и вспоминать или рассказывать другим об усталости, холоде и голоде. Так Улисс испытывает потребность рассказать о своих злоключениях, сидя за нак-

рытым столом в покоях царя феаков Алкиноя. И вернувшиеся живыми рассказывают, подчас уподобляясь «хвастливым воинам»; рассказывают о страхах и мужестве, о хитростях и оскорблениях, о поражениях и маленьких победах. В такие минуты они выделяют себя из общей массы, ощущают свою принадлежность к особой касте, растут в собственных глазах.

И еще они говорят — нет, мы говорим (позволю себе употребить форму первого лица множественного числа, поскольку не принадлежу к категории молчащих), потому что нас об этом просят. Норберто Боббио как-то написал, что нацистские лагеря уничтожения «были *не одним из*, а *самым* чудовищным, возможно, неповторимым событием в человеческой истории». Испытывающие возмущение и сострадание слушатели и читатели (друзья, дети, посторонние) это тоже чувствуют; они понимают уникальность нашего опыта или по крайней мере пытаются понять. Поэтому настаивают, чтобы мы рассказывали, задают вопросы, подчас ставящие нас в тупик: ведь мы не историки, не философы, а всего лишь свидетели и на некоторые вопросы затрудняемся ответить, поскольку нигде не сказано, что человеческая история подчиняется строгим логическим правилам. Нигде не сказано, что каждый ее поворот является следствием какой-то одной причины (такие упрощения годятся только для школьных учебников), на самом деле причин, противоречивых, порой неопределимых, может быть много, а иногда их и вовсе может не быть. Ни один историк или философ, занимающийся теорией познания, еще не доказал, что история человечества подчиняется законам детерминизма.

Среди задаваемых вопросов есть вопрос самый распространенный, и еще не было случая, чтобы его не задали. По мере того как проходят годы, его задают все настойчивей и со все менее скрываемыми обвинительными интонациями. Это даже не один вопрос, а группа вопросов. Почему вы не бежали? Почему не боролись? Почему не пытались спастись *до того*, как вас схватили? Эти обязательные вопросы задают все чаще, а потому они заслуживают внимания.

Первое объяснение напрашивается само и уже одним этим внушает оптимизм. Есть страны, где не знают, что такое свобода, потому что потребность, которую человек в ней

испытывает, следует за более неотложными потребностями, такими, как борьба с холодом, голодом, болезнями, паразитами, защита от нападений людей и хищных животных. Но в странах, где элементарные потребности уже удовлетворены, молодые воспринимают свободу как достояние, от которого они ни за что на свете не согласятся отказаться и которое не позволят ограничить; это неотъемлемое и неоспоримое право, такое же естественное, как здоровье и как воздух, которым мы дышим. Времена, когда это естественное право человека попиралось, и места, где оно попирается теперь, кажутся им далекими, чужими, странными. Поэтому заключение связано у них с побегом или сопротивлением. Положение заключенного кажется им несправедливым, неестественным; оно, как недуг, лечится либо побегом, либо сопротивлением. Впрочем, понимание побега как морального долга имеет глубокие корни. Согласно военным кодексам чести многих стран военнопленный обязан попытаться любым способом освободиться, чтобы снова занять свое место в строю, а Гаагская конвенция запрещает наказывать военнопленного за попытку к бегству. В массовом сознании побег смывает позор плена.

Заметим мимоходом, что в Советском Союзе времен Сталина все было иначе, бесчеловечнее (возможно, такими были и законы): возвращенному на родину военнопленному не было ни искупления, ни прощения. Он считался виновным, даже если совершал побег и возвращался в действующую армию. Он обязан был умереть, но не сдаваться, а попав в руки врага (даже всего на несколько часов), автоматически причислялся к предателям. Когда, освободившись из лагеря, он доверчиво возвращался домой, его отправляли в Сибирь или расстреливали. Такую судьбу разделили многие военные, попавшие в руки к немцам, угнанные в оккупированные страны, бежавшие из плена и влившиеся в партизанские отряды, воевавшие против немцев в Италии, Франции, да и на своей родине, на захваченной врагом территории. То же самое было в Японии: солдат, сдавшийся в плен на войне, покрывал себя несмываемым позором. Отсюда и ужасное обращение с военными союзнических армий, попавшими в руки японцев: они были не просто врагами, но врагами презренными, потерявшими достоинство оттого, что сдались.

И еще: восприятие побега как морального долга и как следствия необходимости отвечать на причиненное зло закрепилось в романтической («Граф Монте-Кристо») и популярной (достаточно вспомнить поразительный успех воспоминаний Папийона) литературе. В мире кино несправедливо (а может быть, и справедливо) арестованный герой — всегда личность положительная. Он пытается бежать, нередко при неправдоподобных обстоятельствах, и не было случая, чтобы попытка не увенчалась успехом. Из множества преданных забвению фильмов в памяти остались «Я — беглый каторжник» и «Ураган». Типичный герой таких фильмов — человек цельный, крепкий духом, в полном расцвете физических сил; отчаяние только придает ему энергии и обостряет ум; он преодолевает все препятствия, все барьеры и побеждает.

Это упрощенное представление о заключении и побеге из заключения имеет мало общего с положением в концентрационных лагерях, которые мы рассматриваем в самом широком плане, то есть включая в это понятие помимо всем известных лагерей уничтожения многочисленные лагеря для военнопленных и интернированных. В самой Германии миллионы иностранцев находились в униженных рабских условиях; они были обессилены работой и недоеданием, плохо одеты, оторваны от родины. Деморализованных и обессиленных, их нельзя было назвать «типичными заключенными». Исключение составляли военнопленные союзнических войск (американцы и те, кто входил в Британское содружество): они получали продовольствие и одежду через Международный Красный Крест, сохраняли хорошую военную выправку, уверенность и чувство локтя, а также свою достаточно прочную внутреннюю иерархическую структуру, в которой не было места представителям серой зоны. За редким исключением они могли позволить себе доверять друг другу, а кроме того, твердо знали: что бы ни случилось, с ними будут обращаться по нормам международной конвенции о военнопленных. Среди них попытки побега были довольно частыми, причем некоторые заканчивались успешно.

Для остальных, для парий нацистской вселенной (в их число входили цыгане и советские заключенные, военные и гражданские, занимавшие по расовой шкале почти такое

же положение, как и евреи) дела обстояли совсем иначе. Физически ослабленные голодом и плохим обращением, деморализованные, они чувствовали, что их жизнь стоит еще меньше, чем жизнь вьючного животного. Для них побег был трудно осуществим и опасен: с бритыми головами, в грязной полосатой одежде, они были легко узнаваемы, а деревянные башмаки не позволяли им передвигаться бесшумно и быстро. Если они были иностранцами, то в округе у них не было ни знакомых, ни надежного укрытия; если немцами, то понимали, что их будет выслеживать всевидящая тайная полиция, и мало кто из соплеменников решится дать им приют, зная, что рискует свободой и даже жизнью.

Что касается евреев, это случай особый и самый трагический. Даже если допустить, что беглецу удастся преодолеть ряды колючей проволоки, один из которых находился под напряжением, не встретить патруль, не попасться на глаза часовым с пулеметами на сторожевых вышках, обмануть собак, натасканных охотиться на человека, куда он пойдет? У кого попросит убежища? Им не было места на земле, эти мужчины и женщины были бесплотными призраками: у них отняли родину (лишили гражданства в той стране, где они родились), дом (конфисковали в пользу полноценных граждан); почти все за редким исключением уже не имели семей, а если какой-нибудь родственник еще оставался в живых, то неизвестно было, где искать его или куда ему писать, чтобы не навести на его след полицию. Антисемитская пропаганда Геббельса и Штрейхера принесла свои плоды: большинство немцев, особенно молодых, ненавидели евреев, презирали их, считали врагами народа. Но даже и те, кто так не считал, уклонялись от оказания помощи (за исключением редких смельчаков), потому что боялись гестапо. Тому, кто решался приютить еврея или даже просто помочь ему, грозило самое суровое наказание. И все же, справедливо будет вспомнить о нескольких тысячах выживших в гитлеровские годы евреев, которые укрывались в немецких и польских монастырях, в подвалах и на чердаках и были обязаны своим спасением отважным и милосердным гражданам, достаточно осмотрительным, чтобы годами скрывать свои взгляды и числиться лояльными режиму.

Во всех лагерях побег всего лишь одного узника расценивался как тяжелейший проступок охраны и вообще всех

надзирающих, начиная с других заключенных, занимавших какие-либо должности, и кончая начальником лагеря, которому могло грозить снятие с занимаемого поста. По логике нацистов, подобное было просто немыслимо: побег раба, да еще из категории «низшая биологическая раса», обретал символическое значение, демонстрировал, разрушая миф, победу тех, кто по определению был обречен на поражение. А говоря проще, беглец мог стать ненужным свидетелем, поскольку о том, что он видел, мир не должен был узнать. И если во время переклички не досчитывались заключенного (такое случалось нередко в результате простой ошибки при подсчете или отсутствия сведений о больном либо умершем от истощения), происходило что-то невообразимое: весь лагерь поднимали по тревоге, не говоря уже об эсэсовцах и гестаповских патрулях; проверяли бараки, подвалы, крестьянские дома в округе, прочесывали окрестности. По распоряжению начальника лагеря проводились чрезвычайные мероприятия. Соотечественников беглеца, его друзей или соседей по нарам допрашивали, пытали и даже убивали. Побег — дело сложное, и маловероятно, чтобы готовящийся к побегу не имел сообщников или чтобы никто не заметил его приготовлений. Его товарищей по бараку, а иногда и весь лагерь выгоняли на площадь для перекличек и могли целыми днями держать под дождем, снегом или палящим солнцем, пока беглеца не возвращали, живым или мертвым. Если его находили и хватали живым, то наказанием всегда была публичная казнь через повешение, которой предшествовали самые разные, неслыханные по своей жестокости и изощренности издевательства эсэсовцев.

Чтобы подтвердить, насколько безнадежным делом был побег, я хочу рассказать историю Малы Циметбаум (не только для этого, но и чтобы сохранить память о ней). Про побег Малы из женского лагеря Освенцим-Биркенау рассказывали многие, и эти рассказы в деталях не противоречили один другому. Молодая польская еврейка, депортированная из Бельгии, Мала бегло говорила на многих языках, и потому в Биркенау она была переводчицей и чем-то вроде вестового, что обеспечивало ей относительную свободу передвижения. Отзывчивая, смелая, она помогала многим, и ее все любили. Летом 1944 года она решилась на побег вместе с Эдеком, польским политзаключенным. Они хотели

не только вырваться на свободу, но и поведать миру о ежедневных массовых убийствах в Биркенау. Им удалось через одну эсэсовку достать две немецкие формы, переодевшись в которые они смогли выйти из лагеря и добраться до словацкой границы, где, заподозрив, что перед ними дезертиры, их задержали и передали в руки полиции пограничники. Полицейские сразу распознали в них беглецов и вернули в Биркенау. Эдека тотчас отправили на виселицу, но он, не желая ждать конца церемонии с оглашением приговора, сам просунул голову в петлю и отбросил ногой табурет.

Мале тоже удалось умереть своей смертью. Пока она в камере ждала допроса, одна женщина из заключенных подошла к ней и спросила: «Как ты, Мала?» «Я всегда хорошо», — ответила она. Ей удалось спрятать под одеждой бритвенное лезвие, и у подножья виселицы она перерезала себе вену у запястья. Эсэсовец, исполнявший роль палача, попытался вырвать у нее из руки лезвие, и Мала, на глазах у всех женщин лагеря, ударила его по лицу окровавленной рукой. Тут же сбежались другие эсэсовцы, их ярости не было предела: баба, заключенная, еврейка осмелилась на такое! Ее избили, полумертвую швырнули в повозку и отправили в крематорий, но она успела испустить дух прежде, чем ее бросили в печь.

Это была не бесполезная, а «полезная» жестокость: она очень хорошо пресекала в зародыше любую мысль о побеге. Когда лагерный новичок, несведущий во всех технических тонкостях и трудностях, думает о побеге, это естественно; но маловероятно, чтобы подобная мысль пришла в голову старожилу; более того, сплошь и рядом из страха перед репрессиями о приготовлениях к побегу доносили представители серой зоны, а то и обычные заключенные.

С улыбкой вспоминаю одну историю, однажды случившуюся со мной в школе, куда меня пригласили рассказать о моих книгах и ответить на вопросы учеников (это были пятиклассники). Один бойкий мальчик, судя по всему признанный лидер класса, задал мне традиционный вопрос: «Почему вы не убежали?» Я коротко перечислил ему причины, о которых пишу в этой главе. Немного смутившись, он попросил меня нарисовать на доске план лагеря и указать, где расположены сторожевые вышки, ворота, заграждение из колючей проволоки и электрическая подстанция. Под

взглядами направленных на меня тридцати пар глаз я выполнил его просьбу. Он несколько секунд внимательно изучал мой рисунок, задал несколько уточняющих вопросов, после чего предложил мне следующий план побега: задушить ночью часового, переодеться в его форму, добежать до подстанции, отключить электричество — тогда и прожекторы погаснут, и проволока будет обесточена, — после чего спокойно уходить. И добавил без тени шутки: «Если с вами еще раз такое случится, действуйте, как я сказал, и вот увидите, у вас все получится».

Мне кажется, этот эпизод наглядно подтверждает, как увеличивается год от года пропасть между тем, что было *там* на самом деле, и тем, как это представляется сегодня благодаря книгам и фильмам с их очень приблизительной правдой. Сегодняшнее представление неудержимо сползает к упрощениям и стереотипам. Хотелось бы поставить преграду на пути этого сползания и в то же время пояснить, что я говорю не о каком-то случайном явлении из недалекого прошлого и не об исторической трагедии; проблема эта гораздо шире, она связана с нашим неумением или неспособностью воспринимать чужой опыт, о котором по мере его удаления из нашего времени и пространства мы судим со все большей легкостью. Мы стремимся приравнять *тот* опыт к *сегодняшнему*, представляя себе освенцимский голод как голод человека, пропустившего обед, а побег из Треблинки как побег из римской тюрьмы Реджина Чели. Задача историка — преодолеть эту пропасть, которая чем дальше от изучаемых событий, тем непреодолимее.

С такой же частотой, но резче и даже с обвинительными интонациями, спрашивают: «Почему вы не сопротивлялись?» Хотя в данном случае «вы» подразумевает множественное число, вопрос этот той же природы и точно так же опирается на стереотипы. Попробую рассмотреть его с двух сторон.

Во-первых, неправда, что в лагерях не было восстаний. Восстания в Треблинке, Собиборе, Биркенау и в других, менее крупных лагерях описаны многократно и во всех подробностях. Эти восстания заслуживают самого глубокого уважения как проявления высшей смелости, но ни одно из них не закончилось победой, если понимать под победой освобождение лагеря. Да и ставить себе такую цель здравомыслящие

люди никогда бы не стали: вооруженной охране хватало нескольких минут, чтобы усмирить восставших, тем более что, как правило, те были практически безоружны. Задача была повредить или уничтожить смертоносные приспособления и обеспечить побег небольшой горстке восставших, что иногда заканчивалось удачей (правда неполной, как, например, в Треблинке). О массовом побеге и речи быть не могло, это было бы чистым безумием: какой смысл, какая польза была бы в том, чтобы открыть ворота тысячам людей, едва передвигающим ноги и не имеющим ни малейшего понятия, куда им идти на этой чужой земле и где искать убежища?

Так что заключенные восставали. Подготовкой занимались единицы — люди умные и мужественные, полные решимости и еще не ослабевшие физически. Расплачиваться приходилось неимоверными по человеческим меркам страданиями многих людей, к которым применялись жесточайшие репрессии, но эти факты доказывали и доказывают, что в немецких лагерях попытки восстаний предпринимались, и утверждать обратное неверно. Цели у восставших были вполне конкретные: донести до свободного мира страшную тайну массовых убийств. И те, кому после долгих изнурительных испытаний в конечном счете удавалось получить доступ к средствам массовой информации, рассказывали об этом, но, как я писал в предисловии к этой книге, их не слышали и им не верили. У неудобной правды тернистый путь.

Во-вторых, связка «притеснение–бунт», так же как связка «заключение–побег», — не более, чем стереотип. Я не говорю, что это неверно, я говорю, что это не всегда верно. История восстаний, народных бунтов, когда «притесняемое большинство» восстает против «правящего меньшинства», стара как мир, разнообразна и трагична. Победоносные восстания можно пересчитать по пальцам, бóльшая часть терпела поражение, не говоря уже о бесчисленных попытках, задушенных в зародыше прежде, чем они оставили след в истории. Успех или неуспех зависел от многих факторов: от численной, военной и идейной силы восставших и, соответственно, от численной, военной и идейной силы властей; от сплоченности или внутренних разногласий, от помощи извне тем или другим; от способностей и харизмы (или демонизма) руководителей, от удачи. Но при любом варианте во главе движения никогда не стоят наиболее

угнетенные; напротив, обычно революции направляются личностями смелыми, свободными от предрассудков, готовыми бороться ради торжества справедливости (или ради реализации своих амбиций), хотя у них есть возможность жить безопасной и спокойной, иногда даже очень комфортной жизнью. Знаменитый скульптурный образ раба, разрывающего свои тяжелые цепи, — это риторическая фигура. Его цепи разрывают другие — те, чьи путы легче и слабее.

Тут нет ничего удивительного. Лидер обязан быть деятельным; он должен иметь запас моральных и физических сил, а угнетение, чем оно сильнее, тем больше сводит этот запас на нет. Чтобы пробудить гнев и возмущение — движущие силы всех истинных восстаний (я имею в виду, естественно, бунты низов, а не путчи и дворцовые перевороты), — важно, чтобы угнетение имело место, но в скромных пределах, то есть не было слишком сильным. Лагерное угнетение выходило за всякие мыслимые рамки и осуществлялось с известной немецкой тщательностью. Типичный заключенный, тот, что являлся нервом лагеря, из-за недоедания был истощен, ослаблен, имел язвы на теле и особенно на ногах (то есть был инвалидом в прямом смысле слова, и это немаловажно!), к тому же был полностью подавлен. Это был не человек, а человеческое отребье, с отребьем же, о чем было известно уже Марксу, революцию в реальном мире не совершить, оно способно побеждать разве что в назидательных фильмах и книгах. Все революции, изменившие картину мира, и даже маленькие, о которых мы здесь говорим, возглавляли личности, хорошо знавшие, что такое притеснение, но не испытавшие его на собственной шкуре. Восстание в Биркенау, о котором я уже говорил, подняли зондеркоманды, обслуживавшие крематорий. Это были люди отчаявшиеся, ожесточенные, но сытые, одетые и обутые. Восстание в варшавском гетто заслуживает восхищения: оно было первым в истории европейского Сопротивления и единственным, поднятым без малейшей надежды на успех и победу, но организатором его стала политическая элита, сумевшая сберечь силы, обеспечив себе значительные привилегии.

Перехожу к третьему варианту вопроса: «Почему вы не убежали *раньше*?» Раньше, чем закрылись границы? Раньше, чем захлопнулась мышеловка? И на этот раз я должен уточ-

нить, что многие из тех, кто был неугоден немецким нацистам и итальянским фашистам, уехали *раньше*. Тысячи имен, известных и неизвестных, в том числе имена политических деятелей, таких как Тольятти, Ненни, Сарагат, Сальвемини, знаменитых ученых (Ферми, Лиза Мейтнер), интеллектуалов и писателей, к которым оба режима не питали симпатии, — Эмилио Сегрэ, Арнальдо Момильяно, Томас Манн и Генрих Манн, Арнольд Цвейг и Стефан Цвейг, Брехт и многие другие. Не все вернулись обратно, и такой отток обескровил Европу, нанес ей непоправимый ущерб. Эмиграция в Англию, Соединенные Штаты, Южную Америку, Советский Союз, а также в Бельгию, Голландию, Францию, куда через несколько лет докатилась волна нацизма (они, да и все мы не сумели предугадать будущее), не была ни бегством, ни дезертирством — скорее это было соединение с потенциальными или реальными союзниками — в цитадели, где можно было возобновить борьбу или творческую деятельность.

Но, конечно же, бóльшая часть преследуемых семей (в первую очередь еврейских) оставалась в Италии и Германии, и это чистая правда. Спрашивать «почему» — значит в очередной раз демонстрировать приверженность стереотипам и анахронистическому представлению об истории, а проще говоря, невежество и забывчивость, которые распространяются и нарастают по мере удаления во времени. Европа 30–40-х годов не была похожа на сегодняшнюю Европу. Эмигрировать всегда мучительно, но тогда это было труднее и дороже, чем сейчас. Чтобы уехать, требовалось не только много денег, но и «зацепка» в стране, куда они ехали, — родственники или друзья, способные обеспечить приют. Многие итальянцы, главным образом крестьяне, эмигрировали в предыдущие десятилетия, но их заставили уехать голод и нищета, к тому же у них были «зацепки», по крайней мере они так считали. Часто их приглашали и хорошо устраивали там, где не хватало рабочих рук, но и для них, и для их семей решение покинуть отечество было очень болезненным.

«Отечество» («patria») — стоит остановиться на этом слове. Оно не из разговорного лексикона. Ни один итальянец никогда не скажет всерьез: я сажусь в поезд и возвращаюсь в свое отечество. Слово это неоднозначно и сравнительно молодо. Оно не имеет точного эквивалента ни в других языках, ни (насколько мне известно) в наших диалектах

(что свидетельствует о его книжном происхождении и тяготении к отвлеченным существительным), да и в самом итальянском оно не всегда выступало в таком значении. Будучи понятием географическим, в разные времена оно варьировалось в своих границах — от деревни, где человек родился и где (этимология слова указывает на это) жили его отцы, до всей страны (после Рисорджименто). В других языках это слово чаще всего ассоциируется с семейным очагом или местом рождения. Во Франции (а теперь и у нас) слово «patrie» обрело одновременно драматическую, полемическую и риторическую окраску: его употребляют, когда «отечеству» что-то угрожает или его не признают.

У тех, кто покидает родные места, воспоминания об отечестве вызывают душевную боль, пока постепенно не изглаживаются из памяти. Еще Пасколи, уехав (не так уж и далеко) из своей Романьи, из «сладостного края», вздыхал: «Мое отечество там, где я живу». А для героини «Обрученных» Лючии Монделлы отечество ассоциировалось с разновеликими вершинами гор, встающих из вод озера Комо. В странах же интенсивной внутренней миграции, какими сегодня являются Соединенные Штаты и Советский Союз, слово «отечество» обретает исключительно политический и бюрократический смысл. Где домашний очаг, где отчий край этих граждан, постоянно переезжающих с места на место? Многие из них не знают этого, да и не хотят знать.

Но Европа 30-х годов была совсем другой. Уже индустриальная, частично урбанизированная, она продолжала оставаться в основе своей крестьянской. «Заграница» для подавляющего большинства населения, особенно для не знающего крайней нужды среднего класса, была далекой, смутной декорацией. Несмотря на гитлеровскую угрозу, бо́льшая часть итальянских, французских, польских и тех же немецких евреев предпочла остаться там, где чувствовала себя в своем отечестве. Мотивация была сходной для всех, хотя и имела в каждой стране свои оттенки.

Это было время серьезной политической напряженности, и европейские границы, сегодня существующие почти номинально, практически закрылись, так что организационные трудности, связанные с эмиграцией, коснулись всех. К тому же Англия и обе Америки резко сократили квоты на въезд в свои страны. Но существовали и другие трудности,

личного, психологического характера, и они даже перевешивали трудности организационные. Эта деревня, этот город, эта область, этот народ — мои, здесь я родился, здесь похоронены мои предки. Я говорю на этом языке, я усвоил здешние обычаи и культуру, в которую, возможно, внес и свой вклад. Я платил налоги, соблюдал законы, участвовал в войнах, не задумываясь, справедливы они или нет. Я рисковал жизнью, защищая границы этой страны, некоторые мои друзья и родственники лежат на военных кладбищах, да и сам я, следуя общепринятой риторике, заявлял, что готов отдать за эту страну жизнь. Я не хочу и не могу покинуть ее; если мне суждено умереть, я умру в «своем отечестве», это будет мой способ умереть за него.

Ясно, что эта скорее домашняя, «оседлая», нежели патриотическая позиция не была бы такой стойкой, если бы европейские евреи не оказались столь близорукими. Нельзя сказать, будто ничто не предвещало грядущую бойню. Уже в самых первых своих книгах и речах Гитлер высказывался вполне определенно: евреи (не только немецкие) — паразиты на теле человечества; их надо уничтожать, как уничтожают вредных насекомых. Но дело в том, что пугающие выводы с трудом пробивают себе дорогу: до последнего момента, до начала погромов, учиненных нацистскими (и фашистскими) дервишами, евреи находили возможность не замечать угрожающих сигналов, игнорировать опасность, создавать удобную для себя правду, о которой я говорил на первых страницах этой книги.

В большей степени, чем к итальянским евреям, это относится к евреям немецким, почти сплошь принадлежавшим к классу буржуазии и считавшим себя немцами. Как и их псевдосоотечественники «арийской расы», они любили закон и порядок и не только не предвидели государственный террор, но были органически не способны поверить в него, даже когда уже все говорило об этом. У Христиана Моргенштерна, эксцентричного баварского (а не еврейского, несмотря на фамилию) поэта, одно из его знаменитых стихотворений заканчивается строкой, привести которую здесь будет как раз к месту, хотя написана она была в 1910 году в добропорядочной законопослушной Германии, описанной Джеромом К. Джеромом в его книге «Трое в лодке, не считая собаки». Строка эта настолько немецкая и настолько

емкая, что вошла в поговорку; на итальянский ее трудно перевести, не исказив неловкой перифразой: «Nicht sein kann, was nicht sein darf»*.

Этой строкой заканчивается символичное стихотворение, в котором один до крайности законопослушный немецкий гражданин по имени Пальмштрем попадает под грузовик на улице, где автомобильное движение запрещено. С трудом поднявшись на ноги, он рассуждает: если проезд здесь запрещен, значит, машины здесь ездить не могут, а раз не могут, то и не ездят. *Ergo***, наехать на него никто не мог, это был бы «невероятный факт» («Unmögliche Tatsache» — так стихотворение и называется), значит, ему все это приснилось: «ведь то, что не имеет права на существование, существовать не может».

Нужно остерегаться судить задним числом, нужно избегать стереотипов. Иными словами, к давно и далеко происходившим событиям подходить с мерками, принятыми здесь и сейчас, — это ошибка; причем чем больше увеличивается пространственно-временна́я дистанция, тем ошибочней будет суждение. По этой причине нам, неспециалистам, трудно понимать библейские и гомеровские тексты, греческих и латинских классиков. Многие тогдашние европейцы, и не только европейцы, и не только тогдашние, вели да и ведут себя, как Пальмштрем, отрицая существование того, что не должно существовать по логике вещей. Согласно расхожему мнению (проницательный Мандзони противопоставлял его «здравому смыслу»), человек, которому грозит опасность, предпринимает попытку защититься или убегает. Но многие опасности, сегодня ставшие очевидными, в то время были скрыты от нас — из-за нежелания верить, из-за отторжения подлинной правды и замены ее на благодушно-утешительную.

Тогда, естественно, возникает встречный вопрос: насколько мы, люди конца века и тысячелетия, в первую очередь европейцы, уверены в завтрашнем дне? Известно (в этом можно не сомневаться), что накопленное на планете ядерное оружие составляет три или четыре тонны тротила на душу населения. Если использовать только один про-

* Ничего не может быть, чего быть не должно (*нем.*).

** Итак, следовательно (*лат.*).

цент всего ядерного арсенала, десятки миллионов умрут сразу же, и всем, оставшимся в живых (за исключением разве что насекомых), будут грозить необратимые генетические изменения. Вполне возможно, что Третья мировая война, пусть условная, пусть частичная, разыграется на нашей территории — между Атлантикой и Уралом, между Средиземным морем и Арктикой. Сегодня угроза иная, чем перед Второй мировой войной, она дальше от нас, зато масштабней предыдущей. Некоторые видят причину всех событий в демонизме истории — явлении новом, еще не разгаданном, хотя и не связанном (пока что) с человеческим демонизмом. Это угроза для всех без исключения, а потому она особенно «бесполезна».

Что же делать? Сегодняшние страхи столь же основательны, как и тогдашние? Мы слепы перед будущим, и в этом мало чем отличаемся от своих родителей. Швейцарцы и шведы построили у себя противоядерные убежища, но что они найдут на Земле, когда выйдут на свет после ядерной катастрофы? Существуют Полинезия, Новая Зеландия, Огненная Земля, Антарктида — они, возможно, не пострадают. Сегодня получить заграничный паспорт и въездную визу гораздо проще, чем тогда; отчего же мы не уезжаем, не оставляем свою страну, почему не бежим *раньше*?

VIII
Письма немцев

«ЧЕЛОВЕК ЛИ ЭТО?» — книга небольшая, но за ней, как за кочующим животным, вот уже сорок лет тянется длинный запутанный след. Первый раз она вышла в 1947 году в количестве 2500 экземпляров, но, хотя и была благосклонно встречена критикой, полностью не разошлась: 600 оставшихся экземпляров отправили во Флоренцию, на склад нераспроданной печатной продукции, где они погибли во время осеннего наводнения 1966 года. Через десять лет после «мнимой смерти» ее в 1957 году вернуло к жизни издательство Einaudi. Я часто задаюсь бессмысленным вопросом: что было бы, если бы уже первое издание книги имело успех? Возможно, ничего не было бы, и я продолжал бы тянуть лямку химика, становясь писателем лишь в воскресенье (да и то далеко не в каждое), а возможно, наоборот, поддавшись искушению, встал под знамена литературы — писатель, так сказать, в натуральную величину, еще неизвестно, успешный или нет. Повторяю, вопрос праздный: гадать, что было бы, если бы... создавать гипотетическое прошлое — занятие столь же неблагодарное, как и предсказывать будущее.

Несмотря на неудачный старт, книга отправилась в путь: ее перевели на восемь или девять языков, включили в школь-

ные программы, по ней сделали радиопостановки и театральные пьесы не только в Италии, но и заграницей. Очень важным, решающим для меня этапом стала ее публикация на немецком языке в Федеративной Республике Германия. Когда в 1959 году я узнал, что немецкое издательство Fischer Bücherei приобрело права на перевод, меня захлестнула волна никогда не испытанных прежде чувств, словно я выиграл сражение. Вот ведь как получилось: я писал, не видя перед собой конкретного адресата, писал для себя о том, что было у меня внутри, что переполняло меня и требовало выхода, я готов был говорить об этом, нет, кричать на весь мир, но кто обращается ко всем — не обращается ни к кому, вопиет в пустыне. Однако предложение контракта со стороны немецкого издательства все поставило на свои места, и мне стало ясно: да, я написал свою книгу по-итальянски, для итальянцев, для детей, для тех, кто не знал, кто не хотел знать, кто еще не успел родиться, кто по собственной воле или против воли сносил оскорбления; но подлинные адресаты, те, на кого, словно оружие, направлена книга, — это они, немцы. И теперь это оружие будет пущено в ход.

Не стоит забывать, что после Освенцима прошло всего пятнадцать лет, и мою книгу будут читать «те самые» немцы, а не их дети или внуки. Из притеснителей, равнодушных наблюдателей они превратятся в читателей, и я заставлю их посмотреть на самих себя в зеркало. Настало время свести счеты, открыть карты, а главное — поговорить. Я не думал о мести; меня вполне удовлетворили результаты священного действа, разыгранного в Нюрнберге (пусть символического, неполного, во многом тенденциозного); я был доволен, что справедливейший приговор — смерть через повешение — преступникам вынесли те, кому и положено по закону, — судьи. Я хотел только понять, понять их, немцев. Не когорту главных преступников, а людей, которых видел сам, — тех, из кого набирались эсэсовцы, тех, кто верил, и тех, кто не верил, но молчал, не осмеливаясь посмотреть нам в глаза, бросить кусок хлеба, сказать хоть одно человеческое слово.

Я очень хорошо помню то время и ту атмосферу и думаю, что могу судить тогдашних немцев без предвзятости, с холодным сердцем. Почти все (но не все) были глухи, слепы и немы; эти «инвалиды» составляли основную массу,

плоть, в сердцевине которой находилась горстка нелюдей. Почти все (но не все) боялись, поэтому именно здесь, объективности ради, чтобы доказать, насколько я далек от огульных осуждений, мне хочется рассказать один эпизод — исключительный, но тем не менее случившийся на самом деле.

В ноябре 1944 года в Освенциме я с двумя товарищами работал в химической лаборатории, которую успел описать раньше. Завыла сирена воздушной тревоги, и тут же в небе появились бомбардировщики, сотни бомбардировщиков. Такой налет должен был обернуться чудовищными последствиями. Внизу имелось несколько больших бункеров, но они предназначались только для немцев, заключенным спускаться туда запрещалось. Наше место было на изрытом взрывами, истоптанном ногами, а теперь уже покрытом снегом пустыре перед лагерным ограждением. Все — заключенные и вольнонаемные — бросились вниз по лестнице, эти — в одну сторону, те — в другую, и тут начальник лаборатории, немец, сказал нам, хефтлингам-химикам: «Вы, трое, идемте со мной!» Удивившись, мы побежали за ним, но на пороге бункера стоял вооруженный охранник со свастикой на рукаве. Он сказал немцу: «Вы входите, а этих — вон отсюда!» Начальник лаборатории ответил ему: «Они со мной. Или мы все, или никто» — и попробовал проложить нам дорогу силой. Началась потасовка. Перевес явно был на стороне этого рослого малого, но тут, к счастью для всех, сирена смолкла: бомбы предназначались не нам, самолеты пролетели дальше на север. Если бы (еще одно «если бы», но так трудно удержаться от искушения и вновь не ступить на путь предположений!) «нетипичных» немцев, способных хотя бы на такое скромное проявление мужества, было больше, тогдашняя история и теперешняя география были бы другими.

Я не доверял немецкому издателю и написал ему почти хамское письмо, запрещая опустить или даже переставить хоть одно слово в тексте, и потребовал присылать мне перевод частями, главу за главой, по мере продвижения работы. Я хотел контролировать не только словарную, но и духовную, смысловую точность. Вместе с первой главой, перевод которой показался мне очень хорошим, пришло письмо и от самого переводчика на безупречном итальянском. Издатель показал ему мое письмо. Я не должен беспокоиться

ни по поводу издания, ни тем более по поводу его работы, писал он. Мы с ним почти ровесники, он по профессии итальянист, литературовед, несколько лет учился в Италии, занимается Гольдони и переводит. Читая письмо, я понял, что этот немец тоже «нетипичный»: его должны были забрать в армию, но нацизм вызывал у него отвращение; в 1941 году он симулировал болезнь, лег в больницу и добился разрешения отправиться до полного выздоровления в падуанский университет изучать итальянскую литературу. Пока действовала отсрочка от военной службы, он оставался в Падуе, где вступил в контакт с антифашистскими группами, возглавляемыми Кончетто Маркези, Менегетти и Пигином.

В сентябре 1943 года после заключения перемирия немцы в два дня оккупировали северную Италию. Мой переводчик, не задумываясь, ушел к падуанским партизанам из движения «Справедливость и свобода», которые воевали на Эвганейских холмах против фашистов республики Сало и их нацистских единомышленников. Он не стоял перед выбором, поскольку чувствовал себя больше итальянцем, партизаном, чем немцем, а уж тем более нацистом, хотя и понимал прекрасно, что выбирает опасный путь — тяготы, лишения, подозрительные взгляды товарищей. Если бы его схватили немцы (эсэсовцы напали на его след, он знал это), то ему грозила бы верная и жестокая смерть, потому что для своих он был дезертиром и предателем.

После войны он обосновался в Берлине, который до того, как его разделила стена, был разбит на четыре сектора и находился под совместным управлением четырех тогдашних великих держав — Соединенных Штатов, Советского Союза, Великобритании и Франции. Партизанский опыт помог ему стать двуязычным: по-итальянски он говорил без малейшего акцента. Он начал работать литературным переводчиком: больше всего переводил Гольдони, потому что любил его и хорошо знал венетские диалекты, неизвестного до той поры в Германии Руццанте, а также писателей начала XX века — в частности, Коллоди, Гадду, Д'Аннунцио, Пиранделло. За литературные переводы и так платили немного, а он вообще зарабатывал гроши, поскольку, будучи человеком дотошным, работал тщательно и за рабочий день успевал сделать мало. Однако наняться на работу в какое-

нибудь издательство ему и в голову не приходило. Причин тому было две: прежде всего, он очень ценил независимость, а кроме того, невидимо, подспудно его политическое прошлое тяготело над ним. Никто его ни в чем открыто не упрекал, но дезертир даже в сверхдемократической Западной Германии, даже в разделенном на четыре зоны Берлине был персоной нон грата.

За перевод моей книги «Человек ли это?» он взялся с энтузиазмом. Она была созвучна ему, поддерживала, подкрепляла его приверженность свободе и справедливости; переводя ее, он словно продолжал вести отчаянную, одинокую борьбу со своей грешной страной. В то время мы оба были слишком заняты, чтобы куда-то ездить, поэтому между нами завязалась оживленная переписка. И он, и я были перфекционистами: он — благодаря своему профессионализму, я, хоть и нашел в его лице единомышленника, причем знающего единомышленника, все же опасался, что мой текст обесцветится, потеряет объемность. Впервые я ввязался в опасную (но оправданную) авантюру, приняв участие в работе над переводом своей книги; переводимый рискует увидеть свою мысль искаженной, перевернутой, собственные слова — пропущенными через сито, измененными до неузнаваемости, невнятными, а то и, наоборот, неожиданно усиленными за счет ресурсов чужого языка.

Уже после первой порции перевода я убедился, что на самом деле мои «политические» сомнения необоснованны: переводчик был таким же врагом нацизма, как и я, так же его ненавидел. Но «лингвистические» сомнения оставались. Как я уже писал в главе, посвященной общению («Коммуникация»), лагерный немецкий, который я использую в своем тексте, в первую очередь в прямой речи, был гораздо грубее общеупотребительного немецкого. Человек книжный и хорошо воспитанный, мой переводчик, безусловно, знал казарменный немецкий (несколько месяцев ему все же пришлось отслужить), но упорно игнорировал низкий, часто дьявольски ироничный жаргон концентрационных лагерей. В каждом из наших писем не меньше страницы занимали его и мои варианты, а иногда из-за одного-единственного слова разгорался ожесточенный спор, как, например, из-за слова «Einer» (об этом я тоже написал в главе «Коммуникация»). Схема была всегда одна и та же:

я в качестве аргумента ссылался на слуховую память, о которой упоминал раньше; он со мной спорил: «Это не по-немецки, сегодняшние читатели нас не поймут». Я настаивал: «Там именно так говорили». В конце концов мы приходили к приемлемому для обоих варианту, иначе говоря — к компромиссу. Позднее собственный переводческий опыт научил меня, что перевод и компромисс — это синонимы, но в то время я был педантичным гиперреалистом и хотел, чтобы в немецком варианте книги осталось это ощущение грубого насилия над языком, которое я всеми силами старался передать в итальянском оригинале. В каком-то смысле речь шла не столько о переводе, сколько о восстановлении, *restitutio in pristinum**; его задача состояла или, как я считал, должна была состоять в том, чтобы сделать обратный перевод на язык, с которым все эти события были связаны, чтобы точность была такой же, как в магнитофонной записи.

Переводчик быстро понял, чего я от него хочу, и в результате на свет появился перевод, блестящий во всех отношениях: его верность мог гарантировать я сам, его высокий стилистический уровень отмечали все рецензенты. Встал вопрос о предисловии. Издатель попросил, чтобы его написал я. Я подумал и отказался. Меня сдерживало смутное отвращение, какая-то необъяснимая преграда вставала на пути мысли, не давала писать. От меня ждали, учитывая, что моя книга — свидетельство, чтобы я сопроводил ее прямым обращением к немецкому народу, обвинительной речью или проповедью. Для этого мне нужно было возвысить голос, подняться на трибуну, из свидетеля превратиться в судью или проповедника, углубиться в теорию, интерпретировать историю, отделить чистых от нечистых, вместо третьего лица использовать второе. Все эти задачи были выше моих возможностей, я с удовольствием переложил бы их решение на других, может быть, на самих же немецких читателей, да и не обязательно только на немецких.

Издателю я ответил, что не в силах написать предисловие, которое не повредило бы самой книге, и сделал ему встречное предложение: вместо предисловия сопроводить книгу отрывком из моего письма переводчику, написанного

* Возвращение в прежнее состояние (*лат.*).

в мае 1960 года по окончании нашей кропотливой совместной работы, где я благодарил его за его труд. Привожу его здесь:

<...> Работа наконец закончена; я полностью удовлетворен ее результатом, очень Вам благодарен и очень рад, хотя вместе с тем мне немного грустно. Поймите, это единственная написанная мною книга, и теперь, когда мы пересадили ее на немецкую почву, я чувствую себя как человек, чей сын вырос и ушел, лишив отца возможности о нем заботиться.

Но дело не только в этом. Вы, наверно, заметили, что для меня лагерь и то, что я смог написать о лагере, — очень важное событие, закалившее, изменившее меня внутренне, открывшее мне смысл жизни. Может, это преувеличение, но ведь сегодня я, заключенный номер 174 517, могу благодаря Вашей помощи говорить с немцами, могу напомнить им о том, что они натворили и сказать: «Я жив и, чтобы судить, я хочу сначала понять вас».

Я не верю, что у каждой человеческой жизни обязательно должно быть особое предназначение, но когда думаю о своей жизни и о тех целях, которые ставил перед собой, лишь одна кажется мне по-настоящему важной и оправданной — нести мое свидетельство, добиться того, чтобы мой голос был услышан немецким народом, «ответить» капо, который вытер руку о мою спину, доктору Паннвитцу, тем, кто повесил Последнего (речь идет о действующих лицах моей книги), а также их последователям.

Не сомневаюсь, что Вы поняли меня правильно. Я никогда не испытывал ненависти к немецкому народу, но если бы и испытывал, то, познакомившись с Вами, излечился бы от своей ненависти. Я не понимаю, просто не переношу, когда человека судят не за то, что он сделал сам, а за принадлежность к той или иной группе <...>.

Но сказать, что я понимаю немцев, я тоже не могу, и то, что я в них не понимаю, создает болезненную пустоту, которая постоянно напоминает о себе и требует заполнения. Надеюсь, книга получит отзвук в Германии, и надежда моя основывается не на амбициях автора: поняв природу такого отзвука, я смог бы лучше понять немцев и удовлетворить требующую заполнения пустоту.

Издатель мое предложение принял, переводчик его горячо поддержал, поэтому все немецкие издания книги «Человек ли это?» начинаются с этого письма, заменившего собой предисловие. Более того, письмо стало неотъемлемой частью текста. В этом я убедился благодаря отзвуку, о котором писал в последних строках своего письма.

Удалось мне также разобраться и в *природе* отзвука, она — примерно в сорока письмах, написанных мне немецкими читателями в период между 1961 и 1964 годами — в пик кризиса, который привел к возведению стены, разделившей и до сих пор разделяющей надвое Берлин. Сегодня берлинская стена — одна из самых острых мировых проблем: именно она, как и проблема Берингова пролива, вызывает открытое противостояние русских и американцев. По этим письмам видно, что люди внимательно прочли книгу, и все они отвечают, пытаются ответить или отрицают возможность ответа на вопрос, четко сформулированный мною в последнем абзаце письма к переводчику: *возможно ли понять немцев*? Письма приходили и в последующие годы, волнами, после каждого очередного переиздания книги, но становились со временем все бесцветнее. Пишущие теперь — уже дети и внуки; это не их боль, они лично ее не испытали и потому в их письмах — лишь слабо выраженное сочувствие, незнание или отстраненность. Для них прошлое — и в самом деле только прошлое, о котором они знают понаслышке. И в нем (в этом прошлом) нет ничего специфически немецкого: за редким исключением эти письма можно сравнить с письмами итальянских молодых людей, поэтому я их здесь приводить не буду.

Письма, стоящие того, чтобы их здесь привести, были написаны людьми молодыми (они или сами называли свой возраст, или это было ясно из контекста) за исключением одного письма, которое пришло в 1962 году из Гамбурга, от доктора Т.Г., и с которого я решил начать, чтобы поскорей от него освободиться. При переводе на итальянский наиболее важных с моей точки зрения отрывков из этого письма я старался сохранить и передать неуклюжие попытки доктора Т.Г. выдать черное за белое:

Глубокоуважаемый доктор Леви!

Ваша книга — это первое свидетельство выжившего узника Освенцима, с которым мы познакомились. Оно глубоко тронуло меня и мою жену. Поскольку Вы, глубокоуважаемый доктор Леви, после всех пережитых ужасов готовы обратиться к немецкому народу, «чтобы понять», услышать «отзвук», я готов взять на себя смелость Вам ответить. Но это не будет отзвук, который поможет «понять»: подобные вещи понять не дано никому! <...>

...человек, который отвернулся от Бога, способен на все: его ничто не сдерживает, ничто не останавливает! Про таких сказано в Книге Бы-

тия (8: 21): «потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его». В наше время это нашло свое объяснение и подтверждение благодаря пугающим исследованиям психоаналитика Фрейда, открывшего область бессознательного, о чем Вы, безусловно, знаете. Извечно случалось, что дьявол на время брал верх, и тогда начинались бессмысленные гонения на евреев, на христиан; происходило массовое истребление коренного населения Южной Америки, индейцев Северной Америки, готов в Италии полководцем Нарсесом, чудовищные преследования и кровопролитие в годы французской и русской революций. Кто может такое «понять»?

Вы ждете, прежде всего, ответа на вопрос, почему Гитлер пришел к власти и почему мы столько времени терпели и не освободились от его гнета. Тогда, в 1933 году, <...> все умеренные партии исчезли, и оставалось выбирать между Гитлером и Сталиным, иначе говоря, между национал-социалистами и коммунистами — силами, стоящими одна другой. Коммунистов мы знали: они устроили несколько крупных переворотов после Первой мировой войны; Гитлер тоже вызывал большие подозрения, но все же казался меньшим злом. Что его красивые слова обернутся ложью и предательством, мы вначале не догадывались. Во внешней политике его успех был очевиден: все государства установили с ним дипломатические отношения, причем Папа договорился с ним первым. Кто мог предположить, что нами управляет (*sic*) преступник и предатель? А потому какая вина может лежать на преданном? Виновен только предатель.

Теперь самый трудный вопрос: его необъяснимая ненависть к евреям. Надо сказать, что эта ненависть никогда не была всеобщей. Во всем мире Германия по праву считалась самой дружелюбной страной по отношению к евреям. Насколько я знаю, и об этом писали, на протяжении всего гитлеровского режима вплоть до его конца не известно ни единого случая стихийного оскорбления еврея или нападения на него. Всегда и только одно (чреватое безумной опасностью) желание — помочь.

Перехожу ко второму вопросу. Восставать в тоталитарном государстве невозможно. Оказать помощь венграм не решилось в свое время даже мировое сообщество. <...> Что же говорить о нас, как мы могли сопротивляться [режиму] в одиночку? Не стоит забывать, что, помимо погибших участников Сопротивления в оккупированных странах, за один только день 20 июля 1944 года в Германии были казнены тысячи немецких офицеров. Речь уже шла не о «маленькой трещинке», как сказал тогда Гитлер.

Дорогой доктор Леви (я позволяю себе так Вас назвать, потому что, кто прочел Вашу книгу, не может не считать Вас дорогим)! Я не могу ни объяснить, ни попросить прощения. Тяжелая вина обрушилась на мой бедный, жестоко обманутый, сбившийся с пути народ. Наслаждайтесь

вновь подаренной Вам жизнью, миром и своей прекрасной Родиной, которая и мне знакома. И в моем книжном шкафу стоят Данте и Боккаччо.

Искренне Ваш Т.Г.

К этому письму фрау Г. сделала приписку, всего несколько лаконичных строк, о чем муж, возможно, и не знал. Я перевел их буквально, слово в слово:

Когда какой-то народ слишком поздно узнает, что оказался в плену у дьявола, с ним происходят определенные психические изменения.

1) В людях проявляется все самое плохое. А в результате — Паннвитц и капо, который вытирает руки о беззащитного.

2) Как следствие — активная борьба с несправедливостью, когда в жертву приносятся собственная жизнь и даже (*sic*) жизнь близких, но и она не приводит к ощутимому успеху.

3) Остается огромная масса тех, кто, спасая собственную шкуру, молчит и готов бросить брата в беде.

Мы признаем это как свою вину перед Господом и перед людьми.

Я много думал об этой странной супружеской паре. Он представляется мне типичным немцем из буржуазной среды. Не фанатичный, но нацист, нацист-оппортунист: когда нужно, он демонстрирует раскаяние, когда нужно — изображает из себя дурачка, чтобы и меня заставить поверить в его упрощенную версию недавних событий и иметь возможность напомнить об истреблении готов византийским полководцем Нарсесом. Его жена менее лицемерна, чем он, хотя ханжества в ней больше.

Я написал в ответ длинное и самое гневное в своей жизни письмо; о том, что ни одна церковь не дает индульгенций последователям дьявола и не принимает перекладывания на него собственной вины в качестве оправдания, что за свою вину и ошибки отвечать надо лично, иначе с лица земли давно бы исчезли последние следы цивилизации, как исчез Третий рейх, что в его политический расклад может поверить только ребенок, поскольку, хотя после парламентских выборов в ноябре 1932 года (последних свободных выборов) нацисты и в самом деле получили большинство (196 мест) в рейхстаге, но ведь там были и коммунисты (100 мест), и социал-демократы, которых Сталин не жаловал — для него они, получившие 121 место, были слишком

 умеренными. Еще я написал, что в *моем* книжном шкафу рядом с Данте и Боккаччо стоит «Майн Кампф» — сочинение, написанное Адольфом Гитлером задолго до прихода к власти. Этот разрушитель не был предателем; он был последовательным фанатиком с абсолютно прозрачными идеями, которые не менял и не скрывал. Те, кто голосовали за него, обязательно голосовали и за его идеи. В этой книге всего хватает: там и кровь, и родная почва, и жизненное пространство, и вечный враг — евреи, и немцы, олицетворяющие «высшую человеческую расу на земле», и другие страны, с отведенной им ролью объекта немецкого господства. Это были не «красивые слова», которые он, возможно, тоже говорил; от этих слов он никогда не отказывался.

Что касается немецких борцов против режима, честь им и хвала, но надо признать, что заговорщики, организовавшие покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, немного опоздали. Далее цитирую конец своего письма:

Слова о том, что антисемитизм в Германии был непопулярен, — пожалуй, наиболее смелое из Ваших утверждений. Мистический по своей природе, антисемитизм с самого начала лежал в основе нацизма: евреи не могут считаться «богоизбранным народом» с той минуты, когда таковым становится народ немецкий. Нет ни одной страницы текста, ни одного выступления Гитлера, где бы он не уставал напоминать о своей ненависти к евреям. И это не была «одна из» нацистских идей: на этой идее строилась вся нацистская идеология. Как же в таком случае «самый дружелюбный по отношению к евреям народ» мог голосовать за партию, которая называла евреев главными врагами Германии, и прославлять человека, заявлявшего, что «задушить гидру иудаизма» он считает своей первоочередной задачей?

Что касается «стихийного оскорбления еврея или нападения на него», сама Ваша фраза звучит оскорбительно. Зная о миллионах убитых, стыдно, непристойно обсуждать вопрос о том, были преследования евреев стихийными или нет, тем более что немцы по своей натуре вообще не склонны к стихийным действиям. Позвольте Вам, однако, напомнить, что никто не принуждал немецких промышленников использовать труд голодных рабов: на это их толкала чистая выгода; никто не заставлял фирму Topf (и по сей день процветающую в Висбадене) строить гигантские многопропускные лагерные крематории. Я понимаю, эсэсовцы, убивая евреев, действовали по приказу, но в войска СС они шли добровольно! В Катовицах после освобождения я своими глазами видел бланки заказов на

бесплатное получение главами немецких семей одежды и обуви для взрослых и *детей* со складов Освенцима. Кто-нибудь озадачился вопросом, откуда взялось столько детской обуви? А Ночь хрустальных ножей? Вы разве о ней не слышали? Или думаете, что каждое совершенное в ту ночь преступление было санкционировано законом?

Находились и такие, кто пытался помочь, я знаю об этом и знаю, насколько это было опасно. Будучи жителем Италии, знаю я и то, что «восставать в тоталитарном государстве невозможно»; но мне известно также, что существуют тысячи менее опасных способов выразить свою солидарность с угнетенными, и к этим способам прибегали в Италии многие даже во время немецкой оккупации, но в гитлеровской Германии случаи выражения такой солидарности были очень редки.

Остальные письма отличались от этого: в них мне открылся другой, лучший мир. Но должен подчеркнуть: даже при всем желании оправдать, я не могу сказать, что эти письма дают полное представление о немецком народе тех лет. Прежде всего потому, что моя книга вышла тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, таким образом, ее прочел, возможно, один из тысячи граждан Федеративной Республики Германия. Мало кто купил ее случайно, большинство покупателей было готово воспринять и прочувствовать то, что там написано. Из всех этих прочитавших книгу людей лишь сорок, примерно, как я уже сказал, решились мне написать.

За четыре десятилетия писательского труда я близко познакомился с этим особым типом читателей, которые пишут письма автору. Таких читателей можно разделить на две категории: письма одних читать приятно, они доставляют радость и приносят пользу, письма других — нет; промежуточные варианты редки. Первые внимательно прочитали книгу, она им очень понравилась, а некоторые даже перечитали ее не один раз; они полюбили ее и поняли — нередко лучше самого автора; они признаются, что книга обогатила их, и выражают свое мнение откровенно, иногда критикуют, иногда благодарят, часто пишут, что отвечать им необязательно. Письма вторых вызывают скуку: читать их — просто потеря времени. Эти читатели выпячивают себя, хвастают своими достоинствами; многие сами тайно пишут и стараются использовать автора прочитанной книги в своих интересах,

цепляясь за него, как плющ цепляется за ствол дерева. Приходят письма также от детей и подростков; эти пишут из удальства, на спор или желая получить автограф. Мои сорок немецких корреспондентов, которым я с благодарностью посвящаю эти страницы (за исключением процитированного выше господина Т.Г., представляющего особый случай), относятся к первой категории читателей.

Л.И. — из Вестфалии, она библиотекарь. Л.И. признается, что порой испытывала сильное искушение закрыть книгу, не дочитав, чтобы «освободиться от тяжелого чувства, вызванного прочитанным», но каждый раз ей становилось стыдно за свою трусость и эгоизм. Она пишет:

В предисловии вы выражаете желание понять нас, немцев. Поверьте, мы не кривим душой, когда говорим, что сами себя понять не можем, сами не знаем, что натворили. Мы виноваты. Я родилась в 1922 году, выросла в Верхней Силезии, недалеко от Освенцима, но в то время, честное слово, я ничего не знала о тех ужасных делах, которые творились всего в нескольких километрах от нас (прошу Вас отнестись к моим словам не как к удобному оправданию, а как к истинной правде). Я помню, еще до того, как разразилась война, мне приходилось встречать людей с еврейской звездой, но я не приглашала их в дом, не оказывала им гостеприимства, как другим, ни разу им не помогла. Моя вина в этом. Смириться со своим ужасным легкомыслием, эгоизмом и трусостью мне помогает вера в Божье милосердие.

Она пишет, что является членом Aktion Sühnezeichen («Искупительное действие»). Это ассоциация молодых евангелистов, которые во время каникул ездят в другие страны, помогая в восстановлении городов, наиболее сильно пострадавших во время войны от немецких бомбардировок (она ездила в Ковентри). О своих родителях она не пишет ничего, и это показательно. Они либо знали и ничего не говорили ей, либо не знали, поскольку не общались с теми, кто не мог не знать: с машинистами эшелонов, с работниками складов, с тысячами вольнонаемных немцев, работавших на заводах или шахтах, где из рабочих-рабов выжимали последние силы — одним словом, со всеми теми, кто не закрывал глаза и видел. Повторяю, вина истинная, основная, общая, вина почти всех тогдашних немцев в том, что им не хватало смелости говорить о том, что они видели.

М.С. из Франкфурта ничего не пишет о себе; он осторожно пытается доказать, что не все немцы одинаковы, и это тоже показательно.

<...> Вы пишете, что не понимаете немцев <...>. Будучи немцем, испытывающим ужас и стыд и до конца своих дней не способным забыть, что этот ужас — дело рук его соотечественников, я считаю своим долгом откликнуться на Ваши слова и Вам ответить.

Я тоже не понимаю таких людей, как капо, который вытер руку о Вашу спину, как Паннвитц, Эйхман и все те, кто, выполняя бесчеловечные приказы, не задумывался о том, что нельзя освободить себя от ответственности, прикрываясь ответственностью других. Вы думаете, то, что в Германии нашлось столько реальных исполнителей преступной воли и что все это смогло произойти именно благодаря большому количеству способных на это людей, не мучает меня как немца?

Да и кто это такие, «немцы»? Правомерно ли вообще говорить о единстве, общности «немцев», «англичан», «итальянцев», «евреев»? Вы сами пишете, что те немцы, которых Вы не понимаете, — исключения <...>. Я благодарю Вас за эти слова и прошу помнить, что неисчислимое множество немцев пострадало и погибло в борьбе с несправедливостью <...>.

От всей души желаю, чтобы как можно больше моих соотечественников прочли Вашу книгу, чтобы мы, немцы, не обленились и не зачерствели; более того, чтобы не перестали осознавать, как низко может пасть человек, который мучает себе подобных. Ваша книга должна способствовать тому, чтобы такое больше не повторилось.

Отвечая М.С., я испытывал затруднение — такое же точно, какое испытывал всякий раз, отвечая всем этим вежливым, благовоспитанным представителям народа, истреблявшего мой народ (и многие другие). В сущности, мою растерянность можно сравнить с растерянностью подопытной собаки, от которой невролог добивается разной реакции на изображение квадрата и круга, постепенно скругляя у квадрата углы, пока тот не станет похож на круг: собака либо входит в ступор, либо проявляет признаки беспокойства. Тем не менее я написал ему следующее:

Я с Вами согласен: опасно и непозволительно говорить о «немцах» или любом другом народе как о единой, недифференцированной общности, судить всех без различия, стричь, что называется, под одну гребенку. И в то же время я не сомневаюсь, что существует такое понятие, как «народный

дух» (не будь его, не было бы и понятия «народ»); существует нечто типично немецкое, типично итальянское, типично испанское: это совокупность традиций и обычаев, это история, язык, культура, объединяющие людей. Кто не ощущает в себе этот дух, национальный в лучшем смысле слова, тот не принадлежит полностью к своему народу, а значит, и не чувствует себя частицей общечеловеческой цивилизации. И хотя я и считаю глупым силлогизм «все итальянцы страстные; ты — итальянец, значит ты тоже страстный», я нахожу возможным в определенных случаях относиться к итальянцам, немцам и т.д. как к общности, чье коллективное поведение отличается от коллективного поведения других народов. Безусловно, бывают исключения, но осторожно прогнозировать такое поведение, по-моему, возможно.

...Буду с вами откровенен: в поколении тех, кому сейчас около сорока пяти, сколько немцев действительно знает, что делалось в Европе во имя Германии? Судя по разочаровывающим результатам некоторых судебных процессов, боюсь, совсем немного: наряду со скорбными, печальными голосами я слышу и совсем другие — полные гордости за мощную и богатую сегодняшнюю Германию.

И.Ю. — социальный работник из Штутгарта. Она пишет:

То, что вам удалось удержаться в своей книге от открытой ненависти к нам, немцам, — настоящее чудо, и нас это должно устыдить. Я благодарна Вам за это. К сожалению, многие из нас до сих пор отказываются верить, что мы, немцы, в самом деле совершили все эти ужасные преступления против еврейского народа. Конечно, такая позиция обусловлена разными причинами, одна из которых, возможно, состоит в том, что в голове обычного человека не может уложиться, будто в нас, «западных христианах», коренится такое страшное зло.

Хорошо, что Вашу книгу опубликовали здесь; она может открыть глаза молодым. Хорошо бы она попала и в руки стариков, но чтобы разбудить нашу «спящую Германию», требуется гражданское мужество.

Я ответил ей так:

...то, что я не испытываю ненависти к немцам, удивляет многих, хотя и не должно. Я убежден: на самом деле испытывать ненависть можно исключительно *ad personam**. Если бы я был судьей, я, подавив переполняющую меня ненависть, не колеблясь вынес бы суровый, даже смертный приговор многим виновным, что и по сей день благоденствуют в самой Германии или

* К отдельным лицам (*лат.*).

в других странах, оказавших им, так сказать, гостеприимный прием; но если бы хоть один невиновный был осужден за преступление, которого он не совершал, это было бы ужасно.

В.А., врач из Вюртемберга, пишет:

Для нас, немцев, живущих под тяжестью нашего страшного прошлого и (кто знает?), возможно, и будущего, Ваша книга — не просто берущая за душу история; это помощь, это ориентир, за который я Вам благодарен. Ничего не могу сказать в наше оправдание. Не думаю, что вину (такую вину!) легко искупить <...>. Как бы я ни старался освободиться от тяжелых призраков прошлого, я все равно остаюсь частью этого народа, который люблю и который на протяжении веков в равной мере порождал как благородные и мирные деяния, так и другие, вызванные опасным демонизмом. И сейчас, когда в одной точке сошлись все времена нашей истории, я считаю себя причастным и к величию, и к падению своего народа, а потому готов отвечать перед Вами за причиненное Вам и Вашему народу зло.

В.Г. — историк, социолог, член Социал-демократической партии, родился в 1935 году в Бремене. Он пишет:

К концу войны я был еще ребенком и не могу брать на себя даже часть вины за ужасные преступления, совершенные немцами. Но я стыжусь и ненавижу этих преступников, доставивших столько страданий Вам и Вашим товарищам, ненавижу их сообщников, многие из которых до сих пор живы. Вы пишите, что не понимаете немцев. Если Вы имеете в виду палачей и их подручных, то и я не в состоянии их понять. Надеюсь, что найду в себе силы с ними бороться, если они снова появятся на авансцене истории. Я говорил, что стыжусь, и хочу попытаться объяснить это чувство: то, что было сделано тогда руками немцев, никогда не должно было случиться и остальные немцы не должны были это одобрять.

Особый случай — переписка с Х.Л. из Баварии. Первый раз она написала мне, будучи старшеклассницей, в 1962 году. Ее письмо, живое и непосредственное, отличалось от всех других писем, возможно, более глубоких, но отмеченных тяжелой печатью пессимизма. Она полагает, я жду ответа от важных персон, официальных лиц, а не от какой-то девчонки, тем не менее ей кажется, что «она должна отвечать за содеянное, как если бы была наследницей и соучастницей». В школе ее хорошо учат, она довольна тем, как ей

преподают недавнюю историю ее страны, но она не уверена, «что свойственное немцам отсутствие чувства меры не проявится однажды снова — в другом обличье и с иными целями». Она осуждает своих сверстников за то, что они отвергают политику, считая ее «грязным делом»; она не сдержалась, когда священник плохо отзывался о евреях и когда преподавательница русского языка, русская по происхождению, стала возлагать вину за Октябрьскую революцию на евреев и называть их уничтожение при гитлеровском режиме справедливым возмездием. В такие мгновения Х.Л. испытывает «невыносимый стыд из-за того, что принадлежит к самому варварскому народу на земле». «Не веря ни в какую мистику или суеверия», она все равно убеждена: «Нам, немцам, не избежать справедливого возмездия за все, что мы совершили». И поскольку она считает себя в определенной степени ответственной за случившееся, ее долг заявить: «Мы, дети поколения, на котором лежит вина, полностью осознаем ее и сделаем все, чтобы не замалчивались вчерашние ужасы и вчерашние страдания, иначе они могут повториться завтра».

В этой девушке я увидел умную собеседницу, лишенную предрассудков, увидел «нового» человека, поэтому я попросил ее описать мне обстановку в Германии (это было в эпоху Аденауэра); что касается ее страха перед коллективным «справедливым возмездием», то я попытался убедить ее в том, что возмездие, если оно коллективное, справедливым быть не может. В ответ она прислала мне открытку, в которой писала, что выполнение моей просьбы потребует серьезной исследовательской работы, поэтому я должен набраться терпения и ждать: она готовит мне исчерпывающий ответ.

Ответ пришел через двадцать дней; он был на двадцати трех страницах — настоящая дипломная работа, построенная на письменных и телефонных интервью, полученных благодаря кропотливому труду этой удивительной девушки. Но, похоже, и она, пусть с самыми благими намерениями, утратила *Masslosigkeit*, чувство меры, хотя именно за это осуждала немцев, когда писала мне свое первое письмо. «Мне не хватило времени, — с наивной чистосердечностью извинялась она, — поэтому я не успела сократить и оставила все как есть». Но у меня чувство меры еще осталось, так что ограни-

чусь лишь краткими выводами и небольшими отрывками из письма, показавшимися мне наиболее важными.

...я люблю страну, в которой выросла, обожаю свою маму, но не могу заставить себя симпатизировать немцу как особому человеческому типу. Может быть, это потому, что в нем еще ясно видны качества, так ярко проявившиеся в недавнем прошлом, а может, потому, что в нем я узнаю себя, по сути ничем от него не отличаюсь и за это ненавижу себя.

На мой вопрос о школе Х.Л. (подтверждая свои ответы документальным материалом) отвечает, что весь педагогический коллектив прошел через сито «денацификации», на которой настояли союзники, но отсев проводился не только по-дилетантски, но и в значительной степени саботировался. Да разве могло быть иначе? Тогда пришлось бы лишить работы целое поколение. В школе преподают современную историю, но о политике говорят мало. Нацистское прошлое проявляется то тут, то там, причем по-разному: одни преподаватели им гордятся, другие скрывают свое отношение к нему, третьи заявляют, что оно их не коснулось. Один молодой учитель рассказал ей:

Ученики очень интересуются тем временем, но стоит заговорить о коллективной вине Германии, они сразу же начинают протестовать. Многие даже заявляют, что им надоело читать в прессе и слышать от своих учителей про «mea culpa»*.

Х.Л. комментирует это так:

...как раз по тому, как ребята восстают против «mea culpa», можно понять, что проблема Третьего рейха до сих пор остается для них неразрешимой, пугающей и исключительно немецкой, как и для всех тех, кто пытался разобраться в ней до них. Только когда улягутся эмоции, мы сможем осмыслить прошлое объективно.

В другом месте, опираясь на собственный опыт, Х.Л. пишет (весьма убедительно):

Учителя не старались обходить острые проблемы; напротив, они рассказывали о методах нацистской пропаганды, подкрепляя рассказы примерами

* Признание вины, *букв.* «моя вина» (*лат.*).

из газет того времени. Они признавались, что в юности, не раздумывая, с энтузиазмом последовали за новым движением, привлекательным своими слетами и спортивными организациями. Мы нападали на них, как сейчас мне кажется, несправедливо: разве можно требовать от тогдашней молодежи умения оценить ситуацию и предвидеть будущее, если даже не все взрослые были на это способны? А мы, смогли бы мы на их месте лучше распознать сатанинские методы, с помощью которых Гитлер вербовал молодежь для своей войны?

Заметьте: логика та же, что и у доктора Т.Г. из Гамбурга, впрочем, ни один свидетель того времени и не отрицал, что Гитлер действительно обладал демонической силой убеждения, помогавшую ему и в международной политике. Для молодых такая логика объяснима: они, ясное дело, стараются оправдать поколение своих отцов (но не тех скомпрометировавших себя и теперь фальшиво кающихся стариков, которым хочется переложить вину на одного-единственного человека).

Х.Л. писала мне еще много раз, и ее письма вызывали у меня двойственные чувства. Писала она и о своем отце, музыканте, скромном, тонко чувствующем, неравнодушном человеке; он умер, когда она была еще ребенком. Может, Х.Л. искала во мне своего отца? Из не по годам серьезной она могла тут же превратиться в девочку-фантазерку; однажды она прислала мне калейдоскоп и написала следующее:

...Знаете, а у меня Ваш образ сложился отчетливо: избежав ужасной судьбы, Вы (простите мне мою дерзость) бродите по моей стране, все еще чужой для Вас, точно в страшном сне. Думаю, я должна сшить Вам костюм, примерно такой, как у легендарных героев, который защитит Вас от всех жизненных опасностей.

Сам я не мог представить себя в таком наряде, но не стал ей об этом писать. Ответил только, что подобные одежды не дарят; каждый должен выткать и сшить одежду для себя самого. Х.Л. прислала мне два романа Генриха Манна из цикла «Генрих IV», которые, к сожалению, я так и не прочел — времени не было. В ответ я отправил ей как раз подоспевший немецкий перевод «Передышки». В 1964 году из Берлина, куда она переехала, я получил от нее золотые запонки, сделанные на заказ ее подругой, ювелиром. Мне не хватило духу

вернуть их; я поблагодарил за подарок, но попросил больше мне ничего подобного не присылать. Искренне надеюсь, что не обидел эту отзывчивую милую девушку, что она поняла меня правильно. С тех пор от нее больше не было никаких известий.

Переписку со своей ровесницей, госпожой Хети С. из Висбадена, я оставил напоследок, потому что в ее и моей жизни эти письма занимали важное место и переписка продолжалась достаточно долго — шестнадцать лет (с октября 1966 по ноябрь 1982 года). Папка с надписью «ХС» гораздо толще той, в которой хранятся письма всех остальных немцев. В ней более пятидесяти ее писем (каждое — не менее чем на четырех страницах) с моими ответами; копии примерно такого же количества писем, написанных ею сыновьям, друзьям, другим писателям, а также в издательства, организации, газеты и журналы (она считала необходимым присылать мне копии) и еще — вырезки, рецензии. Некоторые из ее писем состоят из двух частей: в верхней половине листа — текст под копирку, посылаемый ею многим корреспондентам; ниже, на свободном месте — личные вопросы, замечания. Госпожа Хети писала мне по-немецки, итальянского она не знала; я начал было отвечать по-французски, но вскоре понял, что французским она владеет плохо, и долго писал ей по-английски. Позже, с ее согласия, я перешел на свой нетвердый немецкий, посылая ей письма в двух экземплярах: один, с толковыми поправками (работа над моими ошибками ее забавляла), она мне возвращала. Встречались мы только дважды: один раз у нее дома во время моей короткой деловой поездки в Германию, другой раз — в Турине, во время ее не менее краткого отпуска. Эти встречи не оставили глубокого следа; наша переписка была куда важнее.

Вопрос о «понимании немцев» стал отправной точкой и ее первого письма, но в нем был такой сильный энергетический заряд, что оно отличалось от всех остальных писем. Мою книгу ей подарил наш общий знакомый, историк Герман Лангбайн, когда первое издание уже успело разойтись. Заведуя отделом культуры в региональном правительстве, она искала возможность скорейшего переиздания книги. Вот что она мне написала:

«Понять немцев» Вам наверняка никогда не удастся, так же, как и нам самим, поскольку то, что произошло тогда, никогда и ни за что не должно было произойти. После случившегося для многих из нас слова «Германия» и «Родина» навсегда потеряли то значение, которое имели прежде. «Родина» с большой буквы, «Отечество» — эти слова для нас перестали существовать <...>. Чего мы ни в коем случае не должны допустить — это забвения, вот почему такие книги, как Ваша, которые столь человечно описывают бесчеловечное, очень важны для молодого поколения <...>. Возможно, Вы и сами не отдаете себе полного отчета в том, сколько всего Вы смогли рассказать о себе самом, а значит, и о Человеке вообще. В этом особая ценность Вашей книги, каждой ее главы. Больше всего меня потрясли страницы с описанием лаборатории в Буне: вот, значит, как вам, узникам, виделись мы, свободные!

Еще она рассказала в письме о русском пленном, который осенью носил ей в подвал уголь. Разговаривать с ним было запрещено; она молча совала ему в карман еду и сигареты, а он в знак благодарности кричал: «Хайль Гитлер!» А с молодой французской работницей из так называемых добровольцев разговаривать не запрещалось. (Разобраться в том, что и кому в тогдашней Германии разрешалось, а что запрещалось, было не просто; именно из писем немцев, и особенно из писем Хети, в которых информации было больше, чем могло показаться на первый взгляд, я черпал кое-какие сведения об этом.) Хети забирала француженку из лагеря к себе домой, даже пару раз водила на концерты. В лагере девушка не имела возможности чисто вымыться, и у нее были вши. Хети не решалась поговорить с ней об этом, ей было неловко и стыдно за свою неловкость.

Отвечая на ее первое письмо, я писал, что, хотя моя книга и получила в Германии резонанс, ее прочли в основном те, кто мог ее вообще не читать: в своем раскаянии мне признаются невинные, виновные же по понятным причинам молчат.

Мало-помалу, исподволь, с каждым новым письмом я все больше узнавал о Хети (буду называть ее этим уменьшительным именем для простоты, хотя мы с ней на «ты» не переходили), ее черты вырисовывались все отчетливей. Отец Хети, педагог по профессии, был активистом Социал-демократической партии с 1919 года. В 1933 году, с приходом к власти Гитлера, он сразу же лишился работы; последовали обыски, материальные трудности, семья вынуждена

была переехать в меньшую квартиру. В 1935-м Хети исключили из лицея за то, что она отказалась вступить в молодежную нацистскую организацию «Гитлерюгенд». В 1938-м она вышла замуж за инженера, работавшего в корпорации IG Farben (вот откуда ее интерес к «лаборатории в Буне»!), и родила от него двух детей. После покушения на Гитлера 20 июля 1944 года отца отправили в Дахау, и ее брак оказался под угрозой, поскольку муж, хоть и не был членом нацистской партии, не хотел, чтобы Хети подвергала опасности себя, его и детей, «делая то, что она считала нужным делать», а именно: приносить каждую неделю немного еды к воротам лагеря, в котором находился ее отец.

<...> ему казалось, что наши усилия абсолютно бессмысленны. Однажды мы устроили семейный совет, чтобы обсудить, можем ли мы помочь моему отцу, и если да, то как. «Успокойтесь, — сказал тогда мой муж, — вы больше его никогда не увидите».

Вопреки его предсказанию после войны отец вернулся; он был худой, кожа да кости, и через несколько лет умер. Хети, очень привязанная к отцу, считала своим долгом пойти по его стопам и вступить в возобновившую свою деятельность Социал-демократическую партию. Муж был против, они поссорились, он предложил развестись, и они развелись. Его вторая жена была беженкой из Восточной Пруссии; благодаря детям у Хети установились с ней вполне приличные отношения. Как-то она сказала Хети в связи с отцом, Дахау и лагерями вообще:

Не обижайся, но я не в состоянии ни читать, ни слышать о таких вещах. Нам пришлось бежать, это было ужасно, но самое страшное, что бежали мы по той же дороге, по которой до нас гнали заключенных Освенцима. По обе стороны громоздились горы трупов. Хочу забыть и не могу, эта картина преследует меня во сне.

Отец только-только вернулся, когда Томас Манн выступил по радио и рассказал об Освенциме, газовых камерах и крематориях.

Мы были в полном смятении от услышанного и долго не могли сказать ни слова. Отец молча, хмуро ходил взад и вперед по комнате, пока я не спро-

сила его: «По-твоему, возможно, что людей травили газом, сжигали, что использовали их волосы, кожу, зубы?» И он, сам только что вернувшийся из лагеря, ответил: «Нет, такого быть не может. Для меня авторитета одного Томаса Манна недостаточно, чтобы поверить в такие ужасы». Но это была правда. Через несколько недель появились неопровержимые доказательства, не поверить было нельзя.

В другом своем письме она описала мне свою жизнь во «внутренней эмиграции»:

У моей матери была очень близкая подруга, еврейка. После смерти мужа она жила одна, дети ее эмигрировали, но она не решалась покинуть Германию. Мы тоже подверглись гонениям, но по политической линии, а это совсем другое дело; нам повезло: несмотря на все напасти, мы остались целы. Никогда не забуду тот вечер, когда эта женщина, дождавшись темноты, пришла к нам, чтобы сказать: «Прошу вас, больше ко мне не ходите, и не обижайтесь, что я тоже не буду к вам ходить. Понимаете, это для вас опасно». Мы, естественно, не послушались и продолжали ходить к ней, пока ее не депортировали в город-гетто Терезин. Больше мы никогда ее не видели. Мы ничего для нее не сделали, да и что мы могли сделать? Тем не менее мысль о том, что ты ничего не мог сделать, мучает до сих пор. Прошу Вас, попытайтесь понять.

В 1967 году она присутствовала на процессе по делу о нацистской эвтаназии и написала, что один из обвиняемых, врач, заявил в суде, что ему было приказано вводить яд умственно неполноценным пациентам, но совесть врача не позволяла это делать, и он отказался. «Открывать газовый кран, — сказал он, — тоже небольшое удовольствие, но это, по крайней мере, еще можно вынести». Вернувшись вечером, Хети застала дома приходящую домработницу (ее муж погиб на фронте), занимавшуюся уборкой, и сына, который готовил ужин. Когда они все втроем сели за стол, она стала рассказывать сыну о процессе.

<...> Вдруг женщина отложила в сторону вилку и сказала с вызовом: «Кому нужны эти процессы теперь, когда столько лет прошло? Что могли сделать наши бедные солдатики, если им отдавали такие приказы? Когда мой муж приезжал в отпуск из Польши, он мне рассказывал: „Мы почти ничего другого не делаем, кроме как евреев убиваем. Все время расстреливаем и расстреливаем. От этой стрельбы у меня даже рука заболела“. А что он

мог сделать, если ему такие приказы отдавали?» <...> Я уволила эту женщину, подавив в себе желание поздравить ее с тем, что ее бедному мужу повезло погибнуть на войне. Как видите, здесь, в Германии, до сих пор еще живут среди нас такие люди!

Хети много лет работала в Министерстве культуры Земли Гессен. Она была прилежным, но при этом очень инициативным работником: писала полемические статьи, с увлечением организовывала конференции и встречи с молодежью и принимала близко к сердцу победы и поражения своей партии. После выхода на пенсию в 1978 году ее жизнь стала еще насыщенней и богаче: она рассказывала мне о своих путешествиях, прочитанных книгах, занятиях иностранными языками.

За всю жизнь она так и не утолила своей жажды человеческого общения; наша долгая и плодотворная переписка для нее была одной из многих. «Судьба, — написала она как-то, — сводит меня с людьми необычной судьбы». На самом деле, это было ее призвание, а не судьба: она искала людей, находила их, знакомила друг с другом, принимала горячее участие в их встречах и спорах. Это она дала мне адрес Жана Амери, а ему — мой, но при этом поставила условие: мы оба должны присылать ей копии писем, которыми обменяемся (мы так и делали). Она очень помогла мне разобраться в вопросе о том, являлся ли доктор Мюллер, мой поставщик химической продукции, тем самым освенцимским химиком Мюллером с угрызениями совести, о котором я рассказал в главе «Ванадий» своей «Периодической системы». Этот Мюллер был коллегой ее бывшего мужа. Она (с полным на то правом) попросила меня прислать ей мои записи «по делу» Мюллера, потом деликатно написала ему обо мне, а мне о нем, считая необходимым приложить каждому из нас копию письма к другому для ознакомления.

Лишь однажды мы не сошлись во мнениях (я не сошелся с ней). В 1966 году Альберт Шпеер был освобожден из тюрьмы Шпандау. Как известно, Шпеер был «придворным архитектором» Гитлера, а в 1943 году тот назначил его министром военной промышленности; в этом качестве он в большой мере отвечал за создание заводов, на которых *мы* умирали от непосильной работы и голода. В Нюрнберге он был единственным среди обвиняемых, кто признал себя

виновным. Даже в том, чего не знал. Или не хотел знать. Его приговорили к двадцати годам заключения, и он использовал их для работы над своими тюремными мемуарами, опубликованными в Германии в 1975 году. Поколебавшись, Хети прочла их, и они ее глубоко потрясли. Она попросила Шпеера принять ее, их разговор продолжался два часа, она оставила ему книгу Лангбайна об Освенциме и экземпляр «Человек ли это?», сказав, что он обязан это прочесть. Шпеер, в свою очередь, дал ей для меня свой «Дневник узника Шпандау» в итальянском переводе.

Получив эти дневники, я прочел их; они говорили об изобретательном и здравом уме их автора, о признании им своей вины, казавшемся искренним (но умному человеку ничего не стоит прикинуться искренним). Шпеер представал шекспировским героем с безграничными амбициями, которые могли ослепить его, сбить с пути, но не варваром, не трусом и не рабом. Я стараюсь поменьше читать такой литературы, потому что роль судьи для меня мучительна. Особенно если судить приходится таких, как Шпеер — человека далеко не простого, преступника, заплатившего за содеянное. Я написал Хети с некоторой долей раздражения: «Что Вас толкнуло к Шпееру? Любопытство? Чувство долга? „Высшая цель“?»

Хети ответила так:

Надеюсь, Вы правильно расценили сделанный Вам подарок. Правильным я считаю и Ваш вопрос. Я хотела посмотреть ему в лицо, хотела посмотреть в лицо человеку, который позволил Гитлеру воровать его идеи и стал его человеком. Он говорит (и я верю ему), что массовые убийства в Освенциме — настоящая травма для него. Его мучает обвинение в том, что он «не хотел видеть, не хотел знать», одним словом, «отстранился». Не думаю, что он ищет оправданий; скорее он тоже хочет понять, но и для него «понять» — невозможно. Мне он показался человеком, который не пытается фальсифицировать факты, который ведет честную борьбу и страдает из-за своего прошлого. Для меня он — символическая фигура, образ заблудившегося немца, ключ к пониманию случившегося. Он прочитал книгу Лангбайна, она потрясла его до глубины души; теперь он обещал прочитать Вашу. Сразу же напишу Вам, как только узнаю его реакцию.

Этой реакции, к моему облегчению, я так и не дождался — отвечать Альберту Шпееру письмом на письмо, как

это принято у культурных людей, мне было бы нелегко. В 1978 году, извинившись за то, что она, как ей показалось из моих писем, дала мне повод ее осудить, Хети написала, что еще раз посетила Шпеера, но на этот раз ушла от него разочарованной. Он показался ей эгоцентричным, спесивым стариком, лопающимся от гордости за свое прошлое «архитектора при фараоне». С тех пор содержание наших писем сосредоточилось в основном на темах более злободневных и не менее тревожных: мы обсуждали дело Моро, побег Капплера, одновременную смерть сразу нескольких террористов из банды Баадер-Майнхоф в спецтюрьме Штаммхайм. Она поверила в официальную версию коллективного самоубийства; я сомневался. Шпеер умер в 1981 году, а Хети в 1983-м, скоропостижно.

Наша дружба, почти исключительно эпистолярная, была долгой, плодотворной и даже веселой. Она может показаться странной, если учесть несходство наших жизненных маршрутов, географическую удаленность друг от друга, языковые отличия, и совсем не такой уж странной, когда я вспоминаю, что она — единственная из всех моих немецких читателей, на ком нет ни малейшей вины, единственная ничем не замаранная; кроме того, ее волновало то же, что волновало меня, занимали те же вопросы, которые я обсуждаю в этой книге.

Заключение

ОПЫТ, НОСИТЕЛЯМИ КОТОРОГО являемся мы, выжившие в нацистских лагерях, малопонятен новым поколениям на Западе, и по мере того, как проходят годы, становится все менее и менее понятен. Для тех, чья юность пришлась на 50–60-е годы, эти события были связаны с жизнью их отцов; в семье вспоминали недавнее прошлое, и воспоминания еще сохраняли свежесть реально виденного или пережитого. Для молодежи 80-х годов все это уже «часть истории», нечто далекое, смутное, случившееся когда-то с их дедами. Сегодняшнюю молодежь занимают совсем другие, куда более насущные проблемы: ядерная угроза, безработица, истощение природных богатств, демографический взрыв, необходимость постоянно приспосабливаться к бурно развивающимся технологиям. Карта мира сильно изменилась, Европа больше не центр планеты. Колониальные империи пошатнулись и распались под натиском азиатских и африканских народов, жаждавших независимости. В этом процессе было много трагического: он спровоцировал войны между новыми государствами. Германия, расколотая на две части (неизвестно, на какой срок), заставила с собой считаться, стала «уважаемой» и фактически управляет судьбами Евро-

пы. Неизменным остается порожденное Второй мировой войной противостояние: Соединенные Штаты — Советский Союз, однако идеологии, которым продолжают хранить верность главные победители, в значительной мере утратили былые доверие и притягательность. Входит в зрелый возраст поколение скептиков, лишенных не только идеалов, но и твердых убеждений; относясь предвзято к основополагающим истинам, они готовы принимать на веру истины мелкие, сиюминутные, возникающие на волне регулируемой или стихийной культурной моды.

Нам говорить с молодыми становится все труднее: с одной стороны, это наш долг, с другой — риск показаться людьми, пережившими свое время, риск не быть услышанными. Но мы должны сделать все, чтобы к нам прислушались, потому что, пусть у каждого из нас свой собственный опыт, все вместе мы — свидетели уникального, неожиданного явления. Потому уникального и неожиданного, что никто не мог предвидеть ничего подобного. Невозможно было себе вообразить, что такое может случиться в Европе с высокоцивилизованным народом, пережившим в недавнем прошлом небывалый культурный расцвет (веймарский период) и вдруг поверившим шарлатану, чья фигура не вызывает сегодня ничего кроме смеха. Однако именно ему, Адольфу Гитлеру, народ этот подчинялся и поклонялся до самого конца, пока не разразилась катастрофа. Если такое случилось однажды, значит, может случиться снова, — вот главное, о чем мы должны говорить.

Да, может, причем, где угодно. Я не утверждаю, не берусь утверждать, что это обязательно случится. В конце концов, как я уже говорил, маловероятно, чтобы вновь совпали все факторы, вызвавшие нацистское безумие, но некоторые пугающие признаки проявляются, и на них стоит обратить внимание. В первую очередь назовем жестокость, «полезную» и «бесполезную», что пока проявляется эпизодически, то нарастая, то спадая, то как случайный инцидент, то как государственное беззаконие; причем проявляется в обоих мирах, которые мы условно называем первым и вторым, имея в виду парламентские демократии и страны коммунистического лагеря. В третьем мире жестокость носит эндемический или эпидемический характер; там в любую минуту может появиться новый шарлатан (кандидатов на эту роль

всегда хватает), способный организовать ее, легализовать, объявить необходимой и востребованной и заразить ею весь земной шар. В мире мало стран, обладающих гарантированным иммунитетом против возможной волны жестокости, рожденной нетерпимостью, жаждой власти, экономическими трудностями, религиозным или политическим фанатизмом, расовыми предрассудками. Нужно быть начеку, не верить пророкам и прорицателям, с недобрыми намерениями околдовывающими людей «красивыми словами».

Существует циничное мнение, будто род человеческий не может существовать без конфликтов и что всплески насилия на улицах, на заводах, на стадионах и мелкие местные конфликты суть те же войны, которые, являясь меньшим злом, удерживают людей от большего зла. Еще принято удивляться, что никогда в истории Европы не было такого длительного мирного периода; сорок лет без войны — это, дескать, историческая аномалия.

Подобные аргументы лукавы и вызывают недоверие: человечеству не нужен сатана, не нужны ему ни войны, ни насилие. Нет таких проблем, какие нельзя было бы решить за столом переговоров; главное — добрая воля и взаимное доверие. Или взаимный страх, который в нынешней, бесконечно затянувшейся ситуации бездействия демонстрируют с потугой на улыбку или с гримасой злобы сильные, противостоящие друг другу державы, не стесняясь при этом развязывать (или не сдерживать) вооруженные конфликты между своими «протеже», снабжая их новейшим вооружением, засылая шпионов, отправляя наемников и военных советников вместо миротворцев.

Столь же неприемлемой кажется мне теория превентивной жестокости, жестокости, которая не порождает ничего кроме жестокости и постепенно лишь разрастается — вместо того, чтобы сходить на нет. На самом деле, многое говорит в пользу того, что генеалогия современного насилия берет начало в гитлеровской Германии. Само собой разумеется, жестокости и насилия хватало всегда, и в далеком, и в недавнем прошлом, тем не менее во время бессмысленной бойни, какой была Первая мировая война, враждующие стороны еще не утратили остатка взаимоуважения, еще проявляли гуманность к военнопленным и мирным жителям, соблюдали принятые договоренности. К противнику не относились ни

как к демону, ни как к червю. Верующий сказал бы: «Людей сдерживал страх Божий». Все изменилось после того, как нацисты объявили: «Gott mit uns»*. Ответом на варварские бомбардировки Геринга стали «ковровые» бомбардировки союзников. Оказалось, что ради укрепления власти можно (и желательно) уничтожать целые народы и цивилизации. Массовому использованию ручного рабского труда Гитлер обучался в сталинской школе; к концу войны лагерная система, усовершенствованная Гитлером, вновь расцвела пышным цветом в Советском Союзе, причем в невиданных прежде масштабах. Утечка мозгов из Германии и Италии, а также опасения, что нацистские ученые первыми создадут ядерное оружие, ускорили появление атомной бомбы. Покинув Европу после катастрофы, выжившие евреи создали в сердце арабского мира островок западной цивилизации, процветающий палингенезис иудаизма, снова пробудив к себе ненависть. После поражения в войне притихшая нацистская диаспора стала обучать искусству преследования и пыточным наукам военных и политиков дюжины стран в районах Средиземноморья, Атлантики и Тихого океана. Многие тираны нового образца держат в ящиках своих столов «Майн Кампф» Адольфа Гитлера: с небольшими поправками, с заменой коекаких имен он еще может сослужить им службу.

Пример гитлеризма показывает, сколь разрушительной может быть война в индустриальную эпоху, даже если ни одна из воюющих сторон не применяет ядерного оружия. Двадцать последних лет служат тому подтверждением: достаточно назвать злополучную вьетнамскую авантюру, конфликт из-за Фолклендских островов, войну между Ираном и Ираком, события в Камбодже и Афганистане. Но этот пример показывает и нечто другое: иногда, по крайней мере частично (к сожалению, математический подсчет тут невозможен), историческая вина бывает наказуема. Правители Третьего рейха кончили дни на виселице или сами свели счеты с жизнью; немецкий народ пережил библейское «избиение младенцев», в десять раз сократившее численность целого поколения, и разделение страны на две части, положившее конец вековой идее германского превосходства. Не так уж нелепо зву-

* «С нами Бог» (*нем.*).

чит предположение, что, если бы нацизм с самого начала не проявил себя как режим насилия, его противники не объединились бы в союз, либо этот союз распался бы еще до окончания войны. Мировая война, развязанная нацистами и японцами, стала началом их конца: это должно быть уроком для всех любителей войн, если, конечно, они не самоубийцы.

К стереотипам, которые я перечислил в седьмой главе, я хотел бы добавить еще один. Молодые часто спрашивают, и чем дальше уходит то время, тем чаще и настойчивей они спрашивают: кто такие, эти наши мучители? Из какого они были теста? Слово «мучители» в отношении наших бывших охранников, эсэсовцев, не кажется мне особенно удачным: оно создает впечатление о них как о садистах, личностях патологических, с врожденными отклонениями и пороками. На самом деле это были обычные человеческие существа, из того же теста, что и мы, с такими же лицами, как у нас, со средним интеллектом, не особенно злые (чудовища среди них встречались скорее как исключения), но воспитанные в определенном духе. Неотесанные служаки, прилежные исполнители. Фанатично принимало на веру каждое нацистское слово меньшинство из них, большинство же относилось к нему равнодушно, но покорно выполняло приказы, боясь наказания или стараясь выслужиться перед начальством. Все они прошли через чудовищное оболванивание гитлеровской школы и закрепившую это оболванивание казарменную муштру. В части СС одни стремились ради престижа и неограниченной власти, другие же просто пытались сбежать от семейных проблем. Некоторые (по правде говоря, таких можно было пересчитать по пальцам) вскоре задумывались, просились на фронт, с осторожностью помогали заключенным, даже кончали жизнь самоубийством. Ясно, что в той или иной степени все они были ответственны за случившееся, но также ясно и другое: помимо ответственности исполнителей существовала ответственность большинства немцев, из-за близорукости и неверного расчета, из-за тупости и национального самомнения поверивших в самом начале в «красивые слова» ефрейтора Гитлера. Они шли за ним, не зная сомнений, пока ему сопутствовала удача; его крах стал крахом и для них, терзаемых потерей близких, нищетой и угрызениями совести и уже через несколько лет реабилитированных в результате беззастенчивой политической игры.

Борис Дубин
Свидетель, каких мало

ТАК НАЗВАЛ АВТОРА «Канувших и спасенных» его соотечественник Джорджо Агамбен в книге «Что остается от Аушвица» (1998), где философский анализ моральных последствий Шоа опирался в первую очередь на свидетельства узника Аушвица (Освенцима) Примо Леви. Сборник размышлений и воспоминаний, который лежит сейчас перед российским читателем, вышел в свет в 1986 году, за несколько месяцев до смерти Леви, и стал итоговым не только для четырех десятилетий усилий автора не забыть прошлое и напомнить о нем другим.

Он резюмировал целую серию публикаций о лагерях массового уничтожения, сходных с автобиографическими текстами Леви «Человек ли это?» (1947) и «Передышка» (1963), а также ответных по отношению к ним. Свидетельские книги Виктора Франкла, Давида Руссе, Ойгена Когона, Жана Амери, Робера Антельма, Эли Визеля, Бруно Беттельхайма, самого Примо Леви составили библиотеку. Рядом с ними встали романы и новеллы бывших заключенных Петра Равича, Жана Кейроля, Анны Лангфюс, Хорхе Семпруна, Имре Кертеса, Бориса Пахора, Тадеуша Боровского и многих других.

Эти книги прочитали сотни и сотни тысяч людей в разных странах, имена их авторов вошли в школьные учебники, а тексты стали основой кинофильмов, радиопостановок и театральных спектаклей. В Германии и других государствах были проведены многочисленные судебные процессы над нацистскими преступниками, в том числе теми, кто отвечал непосредственно за создание и функционирование лагерей смерти. Почти одновременно с «Канувшими и спасенными» Европа увидела девятичасовой документальный фильм-свидетельство Клода Ланцмана «Шоа» (закончен в 1985-м). Через несколько недель после смерти Примо Леви была издана большая подборка воспоминаний лагерных «мусульман» — обрекших себя на добровольную смерть «доходяг», отказавшихся выживать и все-таки выживших. Началось время обобщения и анализа прежних свидетельств — десятилетие трудов Р. Хильберга, Г. Лангбайна, М. Поллака, В. Софского, П. Видаль-Наке и десятков других историографов Холокоста. Так или иначе, в результате этой коллективной работы послевоенный западный мир, в том числе сознание миллионов людей в Германии, стал другим.

ВОЙНА ПРОТИВ БЕСПАМЯТСТВА

Что двигало Примо Леви в его многолетних усилиях *свидетеля*? К литературе он себя долгие годы не причислял и в 1963-м, будучи уже автором двух романов и нескольких новелл, на вопрос, кто он — химик или писатель, ответил: «Конечно, химик, тут и думать нечего»[1]. Может быть, стимулом для его работы стало осознание того, что из реальности нацистской Германии и установленного ею порядка была устранена сама мысль о таких, как он, о подобных ему как о людях, и этот порядок претендовал на статус тысячелетнего и мирового. Всякий «другой» здесь был обречен на изоляцию, заключение и гибель, даже если какое-то время ему разрешалось жить отсрочкой наказания. Как *пока еще не уничтоженный* он был лишен любых проявлений индивидуальности, даже остаточных идиосинкразий в форме смущения или брезгливости перед всеобщим и одинаковым для всех (стрижка, форма, вытатуированный номер, одновременная еда и прилюдные естественные отправления, прину-

[1] *Levi P.* Conversazioni e interviste. Torino: Einaudi, 1997. P. 102.

дительное раздевание при всех несколько раз в день и т.п.). Как *обреченный* он должен был исчезнуть без следа и даже без воспоминания. Поэтому память — одна из ключевых категорий в книгах Примо Леви: память — это личность, свидетель — это человек. В этом смысле «...всю недолговечную историю „Тысячелетнего рейха" можно назвать войной против памяти»[2].

Те, кто выжили, призваны помнить, чтобы предотвратить забвение. Но такова лишь одна сторона их добровольно взятой на себя ответственной миссии. Дело еще и в том, что они *не в силах не вспоминать*: пережитые ими мучения теперь продлеваются памятью. Память тяжела не только палачу или угнетателю, признавшим себя виновными, — она непереносима для самого вспоминающего, поскольку воскрешает и длит его прежнюю неволю, унижение, боль, утраты. Леви цитирует Жана Амери: «Кого пытали, тот не забудет об этом до самой смерти. <...> Кто перенес мучения, больше не вернется к обычной жизни; червь унижения будет грызть его постоянно».

Так что память выживших противостоит не только уничтожению памяти и ее носителей их палачами. Забвение, вытеснение тягостных воспоминаний, перелицовка памяти — стратегия едва ли не всех, кто выжил (причем с обеих сторон — и угнетателей, и жертв), но не хочет, избегает помнить, спасается забвением:

Помнящий захотел превратиться в непомнящего, и ему это удалось: желая перечеркнуть то, что было в действительности, он исторг из себя неприятное воспоминание, освободился от него, как освобождаются от экскрементов или паразитов.

Желающему же помнить приходится бороться не только с другими. Ему предстоит признать, что это его внутренняя борьба с самим собой. Признать это крайне важно — и чрезвычайно трудно: едва ли не каждому проще найти врагов *вовне*, провести непреодолимую черту между «своими» и «чужими» и успокоиться хотя бы на этом (Примо Леви не таков, но об этом ниже).

[2] Здесь и далее цитаты из книги «Канувшие и спасенные» приводятся по настоящему изданию без дополнительных указаний.

Кроме того, нацистская диктатура памяти не ограничивается уничтожением следов собственных преступлений и тех, кто мог бы о них вспомнить и рассказать. Она подразумевает фальсификацию памяти и диффамацию жертв как свидетелей — такова еще одна разновидность их продолжающейся гибели и унижения. Леви цитирует Симона Визенталя, рассказывающего об этом замысле нацистов:

Как закончится эта война, мы пока не знаем, — говорили они, — зато знаем, что в войне с вами победу одержали мы, потому что никто из вас не останется в живых, чтобы свидетельствовать, а если какие-то единицы и останутся, мир им не поверит. <…> даже если доказательства найдутся и кто-то из вас выживет, люди скажут, что доказательства ваши настолько чудовищны, что поверить в их подлинность невозможно <…>, а потому поверят нам, которые будут все отрицать, а не вам.

Тема продолжения — времени как продолжения, *неисчезновения* — приобретает у Леви острейший драматизм. Перед нами спор не столько о прошлом, сколько о тогдашнем будущем, а значит, и о нынешнем настоящем. Война не закончилась, Шоа не завершен. Может быть, явления такого рода и масштаба вообще не являются однократными, хронологически локализованными событиями — они продолжаются, должны продолжаться, как это ни мучительно.

РЕШИМОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

Даже став писателем и признав это, Примо Леви не расстался с прошлым: «… я ничего в своей жизни не перечеркнул; я не перестал быть прежним лагерником, свидетелем»[3].

Что это значит? Это значит, что Леви, во-первых, ничего не стремится *доказать*, он понимает ограниченность и субъективность собственных воспоминаний, избирательность памяти других, эту проблему он постоянно видит и много раз тщательно разбирает. Во-вторых, он — и вообще свидетель как важнейшая для него фигура — вовсе не устанавливает факты для последующего *суда и приговора* виновным[4]. Приговор — дело права и судопроизводства, их всеобщность

[3] *Levi P.* Conversazioni e interviste. P. 167.

[4] Здесь стоит напомнить, что в 1983 году Примо Леви перевел на итальянский язык роман Кафки «Процесс», где приговор становится

и общеобязательность опираются на признанный авторитет закона, в том числе — закона разума.

Леви как частное лицо никогда не устранялся от осуждения нацистских преступников: «Если бы Эйхман сидел передо мной, я бы приговорил его к смертной казни»[5].

Но как писатель и свидетель он занимался другим: «Я никогда не ставил себя на место судьи», — признавался он[6]. Иными словами, Леви не стремился к осуждению, как, впрочем, и к прощению виновных («У меня нет власти давать прощение»[7]), притом что никакой двусмысленности в отношении преступников он не допускал[8]. Ему была важна не система права и институт суда, а мораль (достоинство, трудность его сохранить) и носитель морали, равно как и антиморальности, — человек. Знак вопроса в заголовке его первой, решающей для него книги — «Человек ли это?» — требовал ответа. Таким ответом стало практически все, что Леви впоследствии написал.

Общезначимость свидетельству, как его понимает Леви, придает не соответствие закону, не сообразность правилам разума. Леви — естественник по образованию, химик по роду занятий — вовсе не стремится, в отличие от Ницше и его единомышленников, опровергнуть или укоротить *разум*, он неоднократно признает, скольким даже в лагере был обязан своей способности к анализу, обобщению и типологизации, которую воспитали в нем естественные науки. Но общезначимый характер и силу свидетельствам выживших придает, по его убеждению, другое, казалось бы, предельно слабое об-

главной целью судебного процесса и вообще не имеет отношения к вине и ответственности: он — функция бюрократической процедуры судопроизводства, и только.

[5] *Levi P.* Op. cit. P. 144.

[6] Ibid. P. 77.

[7] Ibid. P. 236.

[8] «...ставить знак равенства между убийцей и его жертвой — безнравственно; это извращенное эстетство или злой умысел. В любом случае тот, кто делает это, вольно или невольно оказывает ценную услугу фальсификаторам правды, <...> уравнивать обе роли — значит начисто игнорировать нашу потребность в справедливости», — писал Леви о «прекрасной, хотя и ошибочной картине» Лилианы Кавани «Ночной портье». Резкой была и развернутая оценка этого фильма в рецензии другого лагерника, Бруно Беттельхайма (см.: *Bettelheim B.* Surviving and Other Essays. N.Y.: Jeffrey Norton, 1975).

 стоятельство — готовность свидетельствовать, когда никто и ничто не может к свидетельству принудить. Быть лагерником человека заставляют силой, свидетелем становятся не иначе как по доброй воле. Такой акт может быть только полностью произвольным, не обусловленным ничем извне, не мотивированным никакими внешними силами и обстоятельствами. Решение свидетельствовать — совершенно индивидуально и в этом смысле совершенно случайно. Оно — акт самоопределения такого «я», которое ничем и никем иным не задано и не обосновано. Поэтому акт свидетельства — это возвращение, возрождение человеческого в человеке, пережившем и победившем нечеловеческое. Напротив, ссылки нацистов в ходе судебных процессов на то, что они были всего лишь «частью системы», "не знали", «просто выполняли приказ» или «долг», есть, по сути, отказ от человеческого, продолжающееся отречение от индивидуальности, от себя, возвращение к архаическому коллективизму племени, расы, почвы, крови.

Задача свидетеля — не упразднить или умалить случившееся заклинаниями вроде «этого не могло быть» или «это не должно повториться», а, напротив, указать на его существование как неотменимую реальность, придав свидетельствованием смысл тому, что кажется хаосом и бессмыслицей. Точнее, снова и снова придавая этот смысл, поскольку, по Леви, неоднократен и Шоа, и акт свидетельства о нем (я уже говорил, что проблема осознания случившегося для Леви — это проблема продолжения, теперь я бы сказал — *не однократности, но и не повторяемости* произошедшего). Засвидетельствованное прошлое не может — нельзя, недопустимо дать ему возможность — стать рутиной, привычкой, ритуалом, оно остается твоим актом, который всегда происходит здесь и сейчас[9].

В этом контексте можно говорить о новой философии времени, новой этике и новой антропологии, новом пони-

[9] В книге Агамбена такому «свидетельству» противостоит — со ссылкой на «Археологию знания» Мишеля Фуко — «архив». Он понимается как скопление умолкших свидетельств, которые уже никто более не берет на себя, — они потеряли субъективную принадлежность, личный смысл, индивидуальное измерение и образовали толщу анонимного материала. В этих терминах можно сказать, что Примо Леви ведет борьбу *против архива во имя свидетельства*.

мании человека после Шоа, которые по-своему развивает Примо Леви. Джорджо Агамбен, перефразируя заголовок знаменитого трактата Спинозы, говорит на примере книг Леви об «Ethica more Auschwitz demonstrata»[10].

В таком свидетельстве есть принципиальный изъян: оно отсылает к несуществующему, отсутствующему, уничтоженному. Однако именно это отсутствующее выступает для свидетеля обоснованием смысла его свидетельства, именно оно побуждает его свидетельствовать. В такой слабости он и его свидетельство черпают силу. Близкую философию развивает в уже упоминавшемся фильме «Шоа» Клод Ланцман. Его принцип, который я бы тоже отнес к борьбе за «свидетельство» против «архива», состоит в том, чтобы не ссылаться ни на какие письменные, печатные, фото-, кино- и иные документы, ни на что, что «уже было», как на фактическое и в этом смысле внешнее, «*не мое*». Задача режиссера и его коллег по фильму — без принуждения создать для интервьюируемых в картине такие условия, чтобы они решились *сами* взять (или не брать) *на себя* свидетельство о несуществующем, несвидетельствуемом[11] и в этом акте стать субъектом, «я», выйти из анонимности фактического, из его ничейной и безответственной реальности, снова и снова утверждая, удерживая своим поступком хрупкую, но все-таки продленную у нас на глазах значимость прошлых событий.

Однако по мысли Примо Леви, «в любом свидетельстве есть еще один изъян: свидетельствуют, по определению, выжившие, а они все в той или иной степени обладают привилегией. <...> О судьбе обычного лагерника не рассказал никто, поскольку ему физически невозможно выжить»[12].

[10] См.: *Agamben G.* Quel che resta di Auschwitz: L'archivio e il testimone (Homo Sacer III). Torino: Bollati Boringhieri, 2002. P. 9.

[11] Видовые кадры в «Шоа», снятые на местах прежних камер и печей (главный оператор фильма — Вильям Любчанский) показывают, что никаких документальных следов просто нет, все стерто с земли, заросло зеленью и т.п.: реальность предстоит создать, можно вернуть *только* субъективным свидетельством.

[12] *Levi P.* Conversazioni e interviste. P. 215–216. Радикальную позицию в этом основополагающем вопросе — неприемлемую для Леви, но принятую им во внимание — занял Эли Визель: «Те, кто не узнал этого на себе, никогда не поймут; те, кто испытал, никогда не расскажут; все будет неверно, неполно. Прошлое принадлежит мертвым» (*Wiesel E.* For Some Measure of Humility // Sh'ma: A Journal of Jewish Responsibility. 1975.

В «Канувших и спасенных» Леви делится жестоким знанием:

«Спасенные» не были ни лучшими, ни избранными, ни вестниками. То, что видел я своими глазами, свидетельствует об обратном: выживали по большей части худшие, эгоисты, жестокие, бесчувственные, коллаборационисты из серой зоны, доносчики. <...> Лучшие умерли все.

<...> не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели. <...> Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону, уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми; но это они, *Muselmänner*, доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными. Они — правило; мы — исключение.

<...> Мы, кого судьба пощадила, пытались рассказать не только про свою участь, но, с большей или меньшей степенью достоверности, про участь тех, канувших; только это были рассказы «от третьего лица», о том, что мы видели рядом, но не испытали сами. Об уничтожении, доведенном до конца, завершенном полностью, не рассказал никто, потому что никто не возвращается, чтобы рассказать о своей смерти. Канувшие, даже если бы у них были бумага и ручка, все равно не оставили бы свидетельств, потому что их смерть началась задолго до того, как они умерли. За недели, месяцы до того, как потухнуть окончательно, они уже потеряли способность замечать, вспоминать, сравнивать, формулировать. Мы говорим за них, вместо них.

«МУСУЛЬМАНИН»

«Мусульманин» (Леви связывает это название с намотанным на голову лагерника тряпьем, напоминающим тюрбан, и с его фаталистичным подчинением судьбе, нежеланием сопротивляться гибели), в отличие от так или иначе приспосабливающегося большинства остальных обитателей лагеря, отказывается выживать. «Фитиль», «доходяга», по терминологии ГУЛАГа, который «доходит» или «доплы-

№ 5. P. 314). В России близкую по радикальности точку зрения отстаивал Варлам Шаламов, считавший лагерный опыт полностью негативным и не только непередаваемым, но и в принципе не нужным никому, поскольку он разрушителен для человека.

вает», он — живой труп, ходячий мертвец и обретается между смертью и жизнью, не принадлежа ни той, ни другой. Можно даже сказать, что его нет. По крайней мере, если судить по поведению окружающих, дело обстоит именно так: к нему избегают прикасаться, с ним не общаются, на него не смотрят (как будто он и есть та самая Медуза Горгона, о которой упоминает Примо Леви).

Но все обстоит как раз наоборот: именно подобная фигура составляет центр лагерного мира, собирает в одно и выявляет его суть. По словам Джорджо Агамбена, «...мусульманина единодушно не замечают именно потому, что каждый узнает в его вычеркнутом лице самого себя»[13]. Агамбен указывает, что и спустя несколько десятилетий после войны «мусульмане» почти не упоминаются в исследованиях лагерей и Холокоста, по-прежнему остаются в тени, как бы невидимыми[14]. Между тем, по его словам, «мы не поймем Аушвица, не поняв, кто такой или что такое мусульманин, не сумев вместе с ним глянуть в лицо Медузе Горгоне»[15].

Для Агамбена «Ethica more Auschwitz demonstrata»

> как раз и началась — о чем с иронией говорит уже риторический вопрос в заглавии книги Леви «Человек ли это?» — именно в той точке, где мусульманин, этот «воплощенный свидетель», навсегда уничтожил возможность отличить человека от нечеловека[16].

Отсылка к отрицательному определению, нулевому уровню значимости, пробелу существования (ни смерть, ни жизнь) парадоксальным образом обосновывает жизнь смертью и связывает их друг с другом.

[13] *Agamben G.* Quel che resta di Auschwitz. P. 47.

[14] В 1987 году, уже после смерти Примо Леви, вышло исследование З. Рына и С. Клодзинского «На границе между жизнью и смертью», посвященное фигуре «мусульманина» и включающее большой массив свидетельств (*Ryn Z., Kłodziński S.* An der Grenze zwischen Leben und Tod. Ein Studie über die Erscheinung des “Muselmann” in Konzentrationslager // Die Auschwitz-Hefte: Texte der polnischen Zeitschrift “Przegląd lekarski” über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. Weinheim: Beltz, 1987. Bd. 1. P. 89–154). Их подборкой, своеобразным заключительным словом «канувших» Агамбен заканчивает свою книгу.

[15] *Agamben G.* Op. cit. P. 47.

[16] Ibid. P. 42.

Отсюда, по Агамбену, два парадокса Примо Леви. Первый: «мусульманин — это и есть воплощенный свидетель»[17]. Он — не человек (нечеловек) и ни в коем случае не способен свидетельствовать, а тот, кто неспособен свидетельствовать, и есть истинный, абсолютный свидетель. Его «я» как свидетеля в самом основополагающем смысле расколото: в данном случае «свидетель как этический субъект — это субъект, который свидетельствует об утрате собственной субъективности»[18]. Второй парадокс Леви:

> Человек — это тот, кто может пережить человека. <…> Его жизнь выражается в двойном выживании: нечеловек — это тот, кто выживает после человека; человек — это тот, кто выживает после нечеловека. Именно потому, что мусульманин отделен от человека, именно потому, что человеческая жизнь по существу разрущаема и дробима, свидетель может пережить мусульманина. <…> То, что может быть беспредельно разрушено, может беспредельно выживать[19].

Отсюда неуместность всех разговоров об Аушвице как непостижимом и несказáнном (эпитеты, традиционно относимые к Богу, а в данном случае представляющие своего рода апофатическую, или негативную, «теологию Холокоста»). Молчащий о нем утверждает правоту нацистов, становится солидарным с их стратегией «тайны власти» — принимает, пусть даже невольно, уничтожение любых свидетельств и самих свидетельствуемых как факт, если не прямо соучаствует в нем. Напротив, стратегия сопротивления в лагере и лагерю, как и другим подобным ему социальным устройствам, состоит в том, чтобы ни от чего не отворачиваться, поддерживать, развивать способность смотреть на себя глазами *другого*, а значит, утверждать этого другого как личность, как существующего. Именно на такой двойственности построена у Примо Леви роль свидетеля и конструкция свидетельства «за» и «от имени» «мусульманина».

Смысловым и моральным оправданием подобного свидетельства «за» и «от имени» тех, кто не может, уже никогда не сможет говорить, выступает для Леви в книге «Передыш-

[17] *Agamben G.* Quel che resta di Auschwitz. P. 140.
[18] Ibid. P. 141.
[19] Ibid.

ка» трехлетний обезноженный мальчик, который родился в лагере и которого так и не научили говорить. У него нет языка, нет даже собственного имени, Хурбинек — прозвище, данное ему кем-то из окружающих. Его, опять-таки, как бы нет. Но он есть потому и постольку, поскольку о нем найдется, кому свидетельствовать.

В подобной «слабости», «ущербности», фундаментальном «изъяне» любого свидетельства спасенных от имени канувших Джорджо Агамбен, как ни парадоксально, видит решающий аргумент против любого «ревизионизма» в отношении Шоа, Аушвица, синильной кислоты, газовых камер, которые ревизионисты считают выдумкой, преувеличением, пропагандой и т.п. Он пишет:

Если свидетель свидетельствует за мусульманина, если ему удается довести до словесного выражения невозможность слова, если, короче говоря, мусульманин становится воплощенным свидетелем, тогда отрицание Холокоста опровергнуто в самом истоке. Невозможность свидетельствовать у мусульманина — не просто лишение, она стала реальностью и существует как таковая. Если уцелевший свидетельствует не о газовых камерах или об Аушвице, а если он свидетельствует *за* мусульманина, если его слово исходит из невозможности слова, тогда его свидетельство неподвластно отрицанию. Аушвиц — то, о чем невозможно свидетельствовать, — предъявлен здесь абсолютно и неопровержимо[20].

ЛАГЕРЬ КАК МИР

То, что свидетель говорит «за» и «от имени» тех, кто погибли безъязыкими, остались пеплом, ушли дымом, только и дает ему возможность рассказать о лагере, а не об одном себе, придает его рассказу смысл и весомость свидетельства, от которого мы именно поэтому не вправе отвернуться. Что же рассказал о лагерях смерти «свидетель, каких мало» Примо Леви? Не думая пересказывать его книги, включая нынешнюю, обобщенно отмечу лишь несколько черт «концентрационного мира», по заглавию книги Давида Руссе (1946). Они, по-моему, важные, если вообще не главные, в разговоре о человеке и этике после Шоа и Аушвица.

[20] Ibid. P. 153. Далее в книге Агамбена следуют признания десяти выживших «мусульман».

Первое предостережение Леви относится к обычной для людей в мирной жизни готовности судить о видимом в Аушвице по аналогии, тем более — на основе известных и авторитетных образцов: «Ни рассудок, ни искусство, ни поэзия не могли помочь осмыслить происходящее, понять, что это за место, куда они были депортированы».

Простые и расхожие средства понимания в лагере вообще не срабатывают. Для меня центральная в этом смысле глава «Канувших и спасенных» — «Серая зона», речь в ней идет о непригодности для выживания в лагере упрощенного и привычного деления мира на «своих» и «чужих», друзей и врагов.

…в нас достаточно сильна потребность, возможно, восходящая к временам, когда мы формировались как социальные животные, делить среду обитания на «мы» и «они», и этот шаблон, этот принцип «друг или враг» превалирует в нашем сознании над всеми остальными. Общепринятая трактовка истории, и в первую очередь история, которую преподают в школах, традиционно страдает манихейством, отвергающим полутона и многозначность: исторические события сводятся к конфликтам, а конфликты к противоборству «своих» с «чужими»…

Футбольный матч между эсэсовцами из охраны крематория и членами зондеркоманды, о котором рассказал Леви один из его информаторов, — зловещая пародия на подобное упростительское разделение мира, будто бы состоящего из своих и чужих. В лагере невозможно *соревнование* — ведь оно всегда исходит из презумпции равенства возможностей (невозможны здесь и фигуры *лидеров*, о чем Леви тоже не раз пишет). В мире тотального унижения и принудительного уравнивания в низости, в мире, построенном как лагерь, победителей нет и не может быть. В такой войне не выигрывает никто.

Второй постулат Примо Леви, столь же парадоксальный для обычного сознания, гласит: «…чем сильнее угнетение, тем больше готовность угнетенных сотрудничать с властью». Не то чтобы Примо Леви не верил в героев Сопротивления, не ценил их опыт и не склонялся перед их мужеством, не знал о восстаниях узников гетто, заключенных Треблинки, Собибора, Биркенау. Но его непафосная, лишенная утешительных иллюзий речь сейчас о другом —

о *системе лагеря* и бесконечных градациях, находках, уловках повседневного человеческого приспособления к, казалось бы, нечеловеческому существованию.

Отсюда — третье: широчайшая серая зона между условными черным и белым краями антропологического спектра, между «своими» и «чужими»,

...серая зона с размытыми контурами, разделяющая и одновременно объединяющая два мира — хозяев и рабов. Она обладает необыкновенно сложной внутренней структурой, тайну которой тщательно оберегает...

Таков «новый элемент этики», неожиданно открытый Примо Леви в лагерной преисподней[21]. Леви описывает процесс адаптации новичков Аушвица, оглушенных неизвестными ранее ощущениями (одно из первых и самых острых — окрики и побои со стороны не охраны, а «таких же» лагерников):

...враг находился снаружи, но и внутри тоже, слово «свои» не имело четких границ, не существовало противостояния двух сил, расположенных по разные стороны границы, да и самой границы, одной-единственной, тоже не существовало, их было множество, этих границ, и они незримо отделяли одного человека от другого.

Словами шекспировского персонажа Леви описывает не «безумие», а «систему», по-своему устроенную, отрегулированную и даже казавшуюся кому-то несокрушимой (системы, построенные на чрезвычайном, исключении и исключительном, не бывают устойчивыми, что, впрочем, не мешает им возрождаться и повторяться). В лагере есть своя структура, и она не сводится к противопоставлению заключенных и их мучителей. Система начальников и охранников очевидна, ее различимо обозначают воинские чины и т.п.

Куда труднее — и не только лагерным новичкам — разглядеть структуру в массе узников, они как раз не «такие же», не «одни и те же». Вот это увидел и описал Примо Леви:

[21] *Agamben G.* Quel che resta di Auschwitz. P. 19. Далее Агамбен говорит о «бесконечной и серой алхимии, где добро, зло, а с ними и все другие металлы традиционной этики, достигают точки плавления».

«...класс узников-начальников и есть тот костяк, на котором держится лагерь»[22].

Среди них выделяется слой, ближайший к «обычным заключенным», это

...придурки самого низшего ранга <...> разношерстная публика: подметальщики бараков, мойщики котлов, ночные дежурные, заправщики постелей (которым требование придирчивых немцев заправлять постели аккуратно, без единой морщинки, приносило мизерный доход), проверяльщики на вшивость и на чесотку, порученцы, переводчики, помощники помощников.

Далее следуют те, кто

...занимал всевозможные начальственные посты. К начальникам (капо <...>) относились бригадиры, старосты бараков, писари, а также заключенные, занимавшие самые разные, подчас очень важные должности <...> в администрации лагеря, в политотделе (одно из отделений гестапо), в отделе труда, в карцере.

Масса лагерников структурирована тем, что Леви назвал «привилегиями». Это различные преимущества в доступе к основным и крайне дефицитным «пайковым» ресурсам — таковы, прежде всего, свобода, еда, отдых. Преимуществами во многом определяется возможность заключенного выжить. Важно, что эти привилегии — минимальные, они столь же минимизированы, как сами пайки. Различия тут самые незначительные, лагерь и подобные ему системы — мир мельчайшего, это гигантская принудительная Лилипутия. Но в подобной мелкости масштаба, примитивности устройства и состоит его принудительная сила (пускай ограниченная, временная). Ограниченность ресурсов —

[22] Принципиальная особенность такой структуры — в том, что она задана извне, это не столько «костяк», по выражению Леви, сколько своего рода панцирь. Структуру совсем другого типа, «внутреннюю», Леви отмечает у пленных американцев и британцев: англосаксонский индивидуализм вместе с воинской солидарностью и значимостью универсальных норм (они чувствовали себя защищенными международной конвенцией о военнопленных) давали позитивный результат: «среди них не было места представителям серой зоны», — пишет Леви. Важно, конечно, и то (подобные вещи Леви по понятным причинам видит очень остро и фиксирует крайне внимательно), что они не знали голода, не были смертельно истощены.

узники существуют на грани смерти — делает любое различие максимально значимым: им измеряется отдаленность от умирания или уничтожения.

Другое важное обстоятельство состоит в том, что привилегии и борьба за них относятся не к чему-то особому, а к тому, что хотя бы близко к норме, к нормальности (яркий пример — обладание *столовой ложкой*). Режим экстраординарности придает особость самому рядовому, а рутинность, тривиальность — самому исключительному, отсюда та «банальность зла», о которой писала в одноименной книге Ханна Арендт.

Третье важное в этой связи: мельчайшими, провизорски дозированными градациями привилегий тут достигается (рискну оспорить слова Примо Леви о «сложности») не усложнение, а дробление массы, то есть опять-таки ее упрощение. Громоздкость и детальность построек, фантазий или рассуждений не равнозначны их сложности. В непрекращающейся, роевой фрагментации и состоит секрет временной устойчивости лагерной системы. Дробление и обособление гасят здесь возможность лидерства, разрушают потенциальное сплочение, а значит, минимизируют способность к осмысленному и результативному сопротивлению — Леви описывает этот процесс в подробностях.

Одна из составных частей серой зоны — так называемые зондеркоманды (спецподразделения). Так нацисты называли группу заключенных, обслуживавших газовые камеры и кремационные печи. Они должны были препроводить построенных голых лагерников в газовые камеры, затем извлечь трупы, убедиться, что в отверстиях тел не скрыто ничего ценного, вырвать из челюстей золотые зубы, отрезать у женщин волосы и дезинфицировать их, доставить трупы к печам и проследить за их сожжением, наконец, очистить печи от образовавшейся золы и пепла. Чаще всего в зондеркоманды вербовали евреев: в кратковременном спасении от неминуемой гибели (очень скоро завербованные узнавали, если не понимали этого сразу, что будут в свою очередь уничтожены как нежелательные свидетели) заключалось двойное унижение. В нем тоже содержалась своя логика: по словам Леви, это была, кроме всего прочего, «...попытка переложить на самих жертв всю тяжесть вины, чтобы те не могли утешаться мыслью о своей невиновности».

Последнее соображение крайне важно, оно, наряду с уже сказанным, приоткрывает антропологическую основу существования в лагере и ему подобных устройствах. Здесь выявляется характер первичных (опять-таки примитивных, в этимологическом смысле слова) связей между людьми в такого рода «узилищах»[23]. Это саморазрушительные формы социальных связей: они держатся на барьере между участниками (асимметрии их положений, званий и т.п.), разрыве какой бы то ни было взаимности между ними и постоянном унижении одной стороны всеми средствами, имеющимися у другой. Коротко говоря, это связь-стигма, она стигматизирует «другого», не такого, как «мы», и подобное клеймо вынужденно принимается им как самоназвание, новое «собственное имя»[24]. Но и унижающий строит самопонимание и превосходство, только «возвышаясь» над униженным, — его идентичность точно так же раздвоена разрывом и барьером. Вместе с тем (нельзя забывать это важнейшее обстоятельство) речь идет о форме своеобразной общности, типе принудительной и деформированной, извращенной, уродливой, но связи. Примо Лёви видит в ней одно из возможных объяснений «бессмысленной жестокости» нацистов в лагерях по отношению к жертвам: «...прежде чем убить, жертву надо было довести до деградации, чтобы убийца меньше ощущал груз вины».

Конечно, перед нами режим чрезвычайного положения, принять его можно — если можно, — только когда множество людей поставлены на грань неотвратимой смерти; опять-таки эта грань не внешняя, она не просто *рядом*, она — *внутри* каждого, в «мусульманах» это очевиднее, чем в других. В таких условиях меняет свои вид и значение даже смерть, и так же, как человек в лагере низводится до заключенного номер такой-то, смерть становится «фабричным производством трупов». Цитируя это выражение из интервью Ханны Арендт, Джорджо Агамбен добавляет, что

[23] Использую термин Ирвина Гофмана, описавшего в книге под этим заглавием типы социальных связей в «закрытых» сообществах принудительного заключения (психбольницах, тюрьмах и т.п.). См.: *Goffman E.* Asylums. N.Y.: Doubleday, 1961.

[24] Еще один термин Ирвина Гофмана, посвятившего этой теме монографию: *Goffman E.* Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963.

в Аушвице приходится говорить не только об унижении и уничтожении жизни, но и о «деградации смерти»[25].

Однако подобное исключительное состояние, при всей его экстраординарности, — никак не противоположность порядку, напротив, оно есть особо жесткий, предельно упрощенный и унифицированный порядок. Что лежит в основе того мира, который описывает Примо Леви? Он говорит об этом сам. Во-первых,

> ...концентрационный мир со всеми своими чудовищно жестокими и бессмысленными законами был ничем иным, как разновидностью немецкого милитаризма, его практической реализацией. Армия лагерных заключенных была бесславной копией немецкой армии, точнее сказать, ее карикатурой.

Во-вторых, «...законы и принципы казармы должны были для всей нацистской Германии стать заменой традиционным и „буржуазным“».

Итак, исключительный порядок лагеря эпигонски копирует армейский, а тот, в свою очередь, выворачивает наизнанку прежний — традиционно-аристократический и рационально-буржуазный. В этом смысле любые режимы чрезвычайного положения, навязывающие упрощенный, сниженный образ человека, ориентированные на дозирование жизненного минимума и вводимые надолго или даже «навсегда» в качестве образа жизни для «всех», как правило, представляют собой пародию на предшествующий социальный порядок. В данном случае это двойная или тройная пародия: на казарменно-армейский строй, а через него — на мирный порядок аристократии и буржуазии.

От того, что подобной пародии придаются мифогероические черты, она не перестает быть пародией (по давней мысли Ю. Тынянова, высокие жанры пародируются средствами жанров низких, однако пародией на низкое может выступать высокое — жанровой пародией на комедию будет трагедия). Кроме того, пародия вовсе не обязательно смешит, она бывает и ужасной. Важно, что она по самой своей природе разрушительна, ее цель — механически повторять элементы прошлого, подрывая этим его уникаль-

[25] *Agamben G.* Quel che resta di Auschwitz. P. 66.

 ность и авторитетность. Но пародия не может быть конструктивной, не в силах создать новое, задать достойный образец. Леви много раз повторяет, что в лагере не возникает *лидеров* (система СС — тоже не *элита*, а *номенклатура*). Потуги тоталитаризма на «новую эру», «новое царство», «нового человека» оказались пшиком, не пережили и одного поколения, но непомерно дорого стоили всем.

АУШВИЦ: ЧТО ПОСЛЕ?

Значение «Канувших и спасенных», других книг Примо Леви и его товарищей по судьбе — не только в том, что они нашли в себе силы и сумели рассказать о лагере как образе существования миллионов (хотя и такого мужества для одной жизни более чем достаточно). Продолжающееся воздействие написанного ими еще и в том, что́ лагерь говорит нам о мире *за пределами* лагеря — пространственными и временны́ми. И говорит очень много, если мы захотим услышать и решимся понять.

Ведь лагерь не противостоит миру — он увеличивает и высвечивает мир, как лупа или рентген. Разве мы никогда не сталкивались в повседневной жизни со случаями, когда людей долгие годы связывала, например, не солидарность, а зависимость? Но для лагеря такая разрушительная для обеих сторон связь — не одно из обстоятельств, которые могут и не встретиться на пути, это его первоэлемент, матрица отношений, строительный материал его бараков, камер и печей.

В этом смысле изображение лагеря, которое вопреки внутренним и внешним препятствиям свидетели до нас донесли, — это важнейшая сторона дела, но только одна. Другая, не менее существенная — то, что́ эти книги, как своеобразная комната исполнения желаний, проявляют (или не проявляют) *в нас*. Выжившие свое дело сделали, а последующие?

Помимо собственной боли, требовавшей выхода, и памяти о канувших, взывавшей к пониманию, Примо Леви и его соратниками двигало еще одно: они видели, не могли не видеть, как увеличивающаяся времення́я дистанция, заботы каждого дня, нежелание себя волновать, привычное равнодушие живущих стабильной жизнью все дальше отодвигают от сотен миллионов людей то, что для них, выживших, было и ос-

талось главным[26]. Отсюда — чувство тревоги, которое питало ответственность уцелевших и о котором много раз говорит Леви: за ним — беспокойство об угрожающем и уже наступающем забвении, и этот новый страх — знак солидарности лагерников, солидарности, подчеркну, возникшей и проявившейся уже *за пределами* лагеря (где солидарности, как свидетельствует Леви, места нет).

Есть еще одно чувство, которое выводит заключенных за границы их индивидуального опыта, за пределы лагеря и соединяет (если соединяет) лагерников со всеми остальными людьми, с миром как таковым. Это стыд. Леви посвящает ему отдельную главу «Канувших и спасенных». Стыд в книге Леви противостоит чувству заведомого превосходства (*hybris*) у Гитлера и гитлеровцев. Важно, что это стыд за вину *других* и что он — именно поэтому — связывает с еще более широким сообществом *третьих*, становясь опять-таки основой солидарности, которая была или казалась узникам уже невозможной. Как и в «ущербном» свидетельстве выживших от имени канувших, источником силы у Примо Леви снова становится слабость. Именно она связывает с другими, но связывает признанием таких же людей, пусть даже чужих, но не чуждых, а не подчинением «сверхчеловеку» или беспомощностью и зависимостью «недочеловека».

Описывая чувства многих заключенных после освобождения, Леви, прежде всего, называет

…стыд за вину, которая лежала на других, не на них, но к которой они считали себя причастными, поскольку понимали: происходящее вокруг них, при них и в них — неотвратимо. Его никогда уже не смыть, оно доказывает, что человеческий род, человек, а значит, и мы потенциально способны создавать неисчислимое количество горя, и это горе — единственная сила, которая вырастает из ничего, сама по себе, без усилий. Достаточно лишь не видеть, не слышать, не делать.

Я начинал эти несколько страниц и хочу закончить их словами о деятельной силе ответственности выживших

[26] «Воспоминания о лагере во мне куда живей и детальней, чем обо всем пережитом до и после», — признавал Леви (*Levi P.* Conversazioni e interviste. P. 225).

и их многолетнем противостоянии исторической энтропии. Именно эта последняя, как горе в только что приведенной цитате, «вырастает из ничего, сама по себе». Для остального нужно осмысленное усилие, продолжающееся действие, инициаторами которого и стали Примо Леви, его друзья, товарищи и единомышленники. У этого действия есть результат, хотя и нет, как ясно из сказанного, гарантий необратимости.

Как социолог, сосредоточенный по преимуществу на российской эмпирике, я знаю, что Шоа (Холокост, «окончательное решение») вовсе не относится для сегодняшних россиян к решающим событиям XX века, к его крупнейшим катастрофам. За последние двадцать лет заметно ослабло желание российского населения, особенно молодых поколений, помнить и о ГУЛАГе (напомню, что для большинства рожденных в России второй половины прошлого столетия он стал открытой темой всего лишь на несколько лет на рубеже 1980–1990-х). И вот уже в 2000-х годах главный архитектор нашего собственного «концентрационного мира» назначается на роль первого героя мировой истории всех времен, его провозглашают «именем России», которая «встает с колен» и т.п. Леви прав: «Достаточно лишь не видеть, не слышать, не делать».

Примечания

С. 6

«Сказание о Старом Мореходе» — Цит. в переводе В.В. Левика.

С. 11

Univers concentrationnaire — название книги бывшего узника Бухенвальда Д. Руссе (1946), одной из первых попыток осмысления лагерного опыта.

С. 14

Во времена Фосколо гробницы, «урны сильных» призваны были зажигать души… — Речь идет о поэме итальянского писателя У. Фосколо «Гробницы» (1807), главная тема которой — нравственное и гражданское значение сохранения памяти о прошлом.

С. 15

…двух моих первых книг… — «Человек ли это?» (1947; рус. пер. 2001), «Передышка» (1963; рус. пер. 2002).

С. 23

…поведение на суде Али Агджи… — В ходе судебного процесса Агджи несколько раз менял показания, обвиняя в причастности к покушению болгарские и чешские спецслужбы, функционеров католической церкви и др.

С. 25

…состояние графа Уголино… — Эпизод из «Божественной комедии» Данте Алигьери («Ад», XXXIII, 13–75).

С. 35

Это хорошо понимал Мандзони… — Цит. в переводе под редакцией Н.К. Георгиевской и А.М. Эфроса.

С. 38

Лилиана Кавани… ее прекрасного, но ошибочного фильма… — Речь идет о фильме «Ночной портье» (1974). Нижеследующие цитаты взяты из предисловия Кавани к отдельному изданию сценария «Ночного портье» (рус. пер.: Искусство кино. 1991. № 6), там же см. ее краткий рассказ о встрече с Леви.

С. 41

…листочков, спрятанных кем-то неподалеку от освенцимского крематория… — После войны на территории Освенцима было обнаружено несколько закладок с рукописями работников зондеркоманд. См., в частности, недавнюю русскую публикацию записок З. Градовского (Звезда. 2008. № 7–9).

С. 43

…Нишли… рассказал… — В своей книге «Я был паталогоанатомом у доктора Менгеле» (1946).

С. 45

…монатто… — Работник похоронной службы, перевозивший и хоронивший трупы во время эпидемий чумы.

С. 46

В «Братьях Карамазовых» Грушенька рассказывает притчу… — «Басня» (как называет ее Грушенька) про луковку имеет у Достоевского («Братья Карамазовы», ч. 3, кн. 7, гл. 3) совсем другой финал: стараясь избавиться от прилепившихся к ней грешников, баба брыкалась так энергично, что сорвалась в огненное озеро уже навечно, «а ангел заплакал и отошел».

С. 47

Филип Мюллер… рассказал… — В своей книге «Специальное обращение» (1979).

С. 48

Befehlnotstand — противоправный приказ, отданный в ситуации крайней необходимости, букв. «бедствие-приказ» — понятие немецкого уголовного права, на которое ссылались подсудимые нацисты.

С. 49

История Хаима Румковского… рассказывал ее раньше. — В книге «Человек ли это?».

С. 56

…«Мера за меру»… — Цит. в переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник.

С. 57

…«покой после бури»… — Заглавие стихотворения Дж. Леопарди (1829); нижеследующие цитаты относятся к нему.

С. 58

«Фиделио» — опера Л. ван Бетховена (1805), кульминацией которой является освобождение заглавного героя из многолетнего заключения в тюрьме.

С. 61

…заглянуть в «опасную пучину»… — Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Ад», I, 24.

С. 62

…безжалостная правда Звево… — Цит. в переводе С.К. Бушуевой.

С 68

Солженицын… отмечал… — «Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 9.

С 69

…второй стих Книги Бытия… — «Земля же была безвидна и пуста [тоху вавоху], и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

С 70

…знаменитые… слова Джона Донна… — Цитата из «Обращений к Господу в час нужды и бедствий» (1624; Медитация XVII) Дж. Донна, ставшая, в частности, эпиграфом романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» (1929).

…partial shelter Т.С. Элиота… — Имеется в виду фрагмент из пьесы Т.С. Элиота «Убийство в соборе» (1935): «Мы не были счастливы, Господи, не были / слишком счастливы. / <…> / Мы знаем унижения и мучения, / Мы знаем надругательства и насилия, / Беззакония и чуму, / Старика без очага зимою / И детей без молока летом, / Плоды трудов наших, отринутые у нас, / И тяжесть грехов наших, низринутую на нас. / Мы видели смерть молодого мельника / И горе девы, распростертой над потоком. / И все же, на наш взгляд, мы при этом жили, / Жили и как бы жили, / Собирая развеянное по ветру, / Собирая хворост, / Сооружая крошечный кров [partial shelter] / Для сна, и еды, и питья, и веселья» (пер. В.Л. Топорова).

С. 73

miles gloriosus — заглавный персонаж комедии Тита Макция Плавта.

С 80

…Клемперер… предложил использовать… аббревиатуру LTI… — См. книгу О. Клемперера «LTI: Язык Третьего рейха» (1978; рус. пер. 1989).

NSDAP, SS, SA, SD, KZ, WVHA, RSHA, BDM — соответственно Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), «охранные отряды» НСДАП, «штурмовые отряды» НСДАП, Служба безопасности, концентрационный лагерь, Главное хозяйственное управлении СС, Главное управление имперской безопасности, Союз немецких девушек.

Lei — вежливая форма обращения на «вы», считавшаяся в фашистской Италии «буржуазным пережитком».

С. 81

Лидия Рольфи — Лидия Беккариа Рольфи, узница концлагеря Равенсбрюк в 1944–1945 годах, автор книги «Женщины Равенсбрюка» (1978; в соавторстве с А.-М. Бруццоне) и др.

С 82

Бадоглио — искаженное произношение фамилии маршала Бадольо, ставшего премьер-министром Италии после свержения Муссолини в 1943 году.

С 87

…те, кто похитил Альдо Моро на улице Фани… — Председатель христианско-демократической партии Италии А. Моро был похищен бойцами Красных бригад весной 1978 года в Риме и убит спустя пятьдесят дней заточения.

С. 90

...8 сентября 1943 года... — День вступления немецких войск на территорию Италии.

С. 96

Ойген Когон утверждал... — В своей книге «Эсэсовское государство: система немецких концлагерей» (1946).

С. 99

Лев 19: 28 — «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь».

С. 103

...комендант Штангль... бросил журналистке, бравшей у него интервью... — Речь идет об основанной на интервью со Штанглем книге Гитты Серени «Взгляд во тьму: от эвтаназии к массовым убийствам» (1974).

С. 112

...конрадовское осознание пределов своих возможностей... — Речь идет о часто встречающемся в книгах Дж. Конрада конфликте между сильной личностью и труднопреодолимыми жизненными обстоятельствами.

С. 117

...Леонардо да Винчи, называвший себя «omo sanza lettere»... — Автохарактеристика да Винчи, многократно встречающаяся на страницах его «Атлантического кодекса» и др.

С. 123

...образы Лауры, Эрменгарды и Клоринды... — Героини произведений Ф. Петрарки, А. Мандзони и Т. Тассо.

«И кто за родину умрет, тот будет вечно жить» — строка из хора оперы С. Меркаданте «Каритея, королева Испании» (1826).

«Прекрасная смерть жизнь осветит» — Ф. Петрарка, «Книга песен», 207.

...«утешения в слезах»... — У. Фосколо, «Гробницы».

С. 125

Франческа объясняет Данте... — Данте Алигьери, «Божественная Комедия», «Ад», V, 121–123 (пер. М.М. Лозинского).

С. 128

...успех воспоминаний Папийона... — Речь идет об автобиографических романах А. Шарьера «Папийон» (1969) и «Ва-банк» (1972), рассказывающих о многолетнем тюремном заключении автора.

«Я — беглый каторжник» и «Ураган»... — Фильмы М. Ле Роя (1932) и Дж. Форда (1937).

С. 136

Еще Пасколи... вздыхал... — Цитаты из стихотворения Дж. Пасколи «Романья» (1897).

С. 138

Согласно расхожему мнению (проницательный Мандзони противопоставлял его «здравому смыслу»)... — «Здравый смысл существовал, но ему приходилось скрываться из страха перед господствующим мнением» («Обрученные», гл. 32) — у Мандзони речь идет о сомнениях в правоте конспирологического объяснения эпидемии чумы, распростране-

ние которой общественное мнение связывало со злым умыслом — «ядовитыми мазями» и т.п.

С. 164

...книгу Лангбайна об Освенциме... — «Человек в Освенциме» (1980).

С. 165

...побег Капплера... — В 1977 году бывший полковник СС, глава немецкой оккупационной полиции в Риме в годы войны Г. Капплер, приговоренный итальянским судом к пожизненному заключению, бежал из римской тюремной больницы, спрятавшись в чемодане навещавшей его жены.

Примо Леви
Канувшие и спасенные

Редактор Анна Ямпольская
Корректор Елена Елочкина
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Пятницкая улица, 41
телефон / факс (495) 951 6050
e-mail info@novizdat.ru, sales@novizdat.ru
http://www.novizdat.ru

Подписано в печать 16 ноября 2009 года
Формат 60×90/16
Гарнитура Charter
Объем 12,3 условных печатных листов
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ № 375

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, Библиотечная улица, 11



НОВОЕ